

С е р г е й Ш е л к о в ы й

# Парусник

с т и х о т в о р е н и я

Киев “Радуга” 2011

ББК 84(2РОС)  
Ш 44

*В оформлении книги использована живопись  
П. Брейгеля и И. Босха*

**Шелковый С. К.**

Ш 44 Парусник: Стихотворения.— К.: Радуга, 2011.— 224 с.  
ISBN 978-966-1642-59-0.

В новую книгу известного поэта Сергея Шелкового вошли стихотворения, написанные в последние два года, а также некоторые произведения прошлых лет, которые само течение времени объединило в сцепки и циклы, высвечивая новые слоения и смыслы авторской речи, выявляя новые интонации в звучании слова.

**ББК 84(2РОС)**

ISBN 978-966-1642-59-0

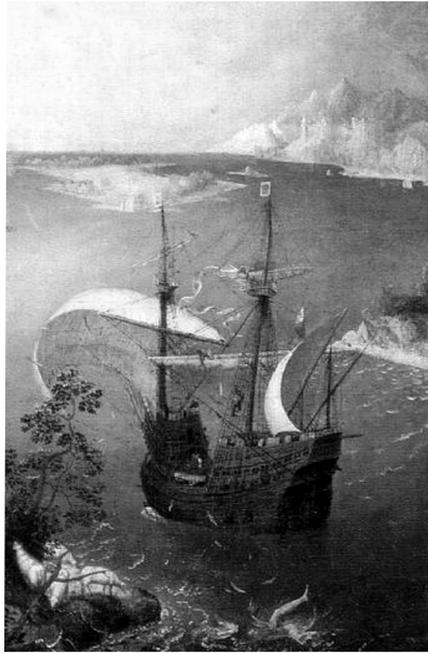
© Шелковый С. К., 2011

# I

---

*Лишь звуком,  
а не притчей...*

---



\* \* \*

Ещё любил я первое июля,  
когда после дождя опять светло,  
и солнце золотит в столовой стулья  
и брызжет на гранёное стекло.  
Как дышит рухлядь в этом доме старом —  
открытки, ноты, бастионы книг!  
Всё шло к тому, чтоб тайно и задаром  
я некий мир из воздуха воздвиг.  
А что ж ещё в бездомном певчем звуке?  
Грудинных струй волнистая игра...

И ни на рубль скептической науки,  
ни на копейку прочного добра.  
Слова о лете — обречённой лета.  
Глотни вина, поозоруй чуток —  
и ласкою предсмертного привета  
закончи рукописный завиток.  
Иди же, ночь! Как ладен твой обычай,  
дружок-сверчок, игруля из игруль!  
Ведь можно жить лишь звуком, а не притчей,  
и снова ждать рассветный лепет птичий:  
«Июль-июнь, июль-июнь, июль...»

## ДАВАЙ ЛЕТАТЬ

*М.*

И мыши в тёплой тьме летают. И спозаранку дирижабли  
парят, плавучие, как рыбы, серебряные, как кефаль.  
Рождённый ползать множит шоу,  
рекламные моноспектакли.  
Но есть и свежие идеи, как, например, Лилиенталь!

И мы, дружок мой, летним утром дуэтом стансы сочиняя,  
коснёмся взором-следопытом тех отдалённых островов,  
где на холмах уже созрела оранжевая чашка чая,  
где вождь, в ракушках ожерелий, сразиться с духами готов.

Десятком слов по-португальски блеснуть с утра  
вполне уместно  
мне, кто в когорте Магеллана сражался, и хлебал вино.  
На всех углах бубнит торговля, но по ухабам почвы местной  
биплан движком уже стрекочет, как чёрно-белое кино.

И стрекоза Лилиенталья — пилот в очках и шлемофоне —  
трещит, подобно мотоциклу, подпрыгивая над травой.  
А за синкопами движения на подлинном июльском фоне  
и ты, кузнечик мой, мужаешь, и я с тобой — ещё живой...

Давай взлетать, десятилетний, мой ясенёк, дичок, тутовник,  
первейший мой средь чад Господних и махаон, и Магеллан!  
Бью о тебе челом — кто слышит?

Молчит, не телится коровник.  
До судных сфер не долетает фанерный мой аэроплан...

\* \* \*

Синее с красным смешаешь — горит фиолет,  
светит и ультрамарином, и инфратонами!  
Смерти в лиловом лугу, в колокольцевом, нет,  
нету в сиреневых ветках вражды между нами.  
Кажется, сможешь о важном, о главном, сказать,  
не рассыпая ни нот, ни стекляруса спектра.  
Жаль лишь — отец не вдохнёт, не почувствует мать  
новых размахов цветного апрельского ветра.

Жаль, что простились и жили не в полной любви.  
Радостью радуги нам бы смелей умыться...  
Ну, а теперь к покаяньям своим не зови  
ни альтер эго чернильного, ни папарацци.  
Всё же поверь, что доколе зрачок твой — живой,  
мир, что ведёт параллели всё более криво,  
не обесточит источника над головой,  
белого — в чёрной дыре — не утопит налива...

\* \* \*

Наплывает зелёной волною Азовское море  
на измолотый панцирь ракушки, на тёплый песок.  
Меотида — коханка Борея античных историй.  
Казантип — галактической веры резной образок.  
Глубоко, всю грудь, вдыхают пространство и время  
вольнoлюбие ветра и смысла искомую близь.  
И, подобно логической сцепке идей в теореме,  
лепестки из базальта в симметрию мыса слились.

Никого, никого, ни единой души, слава Богу,  
не увидишь, минуя все бухты, дугу за дугой.  
В самый раз — протрубить бы тут белому единорогу,  
искру высечь из камня точёной рысистой ногой.  
В самый раз — осознать: это капище тех откровений,  
чьи обрывки и отзвуки демос на гумус сменял...  
Лишь отпетый философ приходит из зоны скудений  
к возведению в некую степень и света, и тени,  
ибо ждёт пассажира — семи измерений вокзал.

## ХРАМ ПОД ВОРОНЕЖЕМ

Иверской Матери Божьей  
церковь стоит над прудом.  
Кем я, проезжий, прохожий,  
по бездорожью ведом?  
Путники не доезжают,  
не добредают сюда,  
но голубень отражают  
серые воды пруда.

Но над крутым косогором,—  
по-над страной ширины,—  
к полновоздушным просторам  
маковки вознесены.  
Словно бы в хвори-заботе  
травы находит зверьё,  
так я в поспешном пролёте  
с трассы увидел её —

церковь вдали... И «восьмёрку»  
поворотил по буграм,  
и отыскал на пригорке  
белый, средь зелени, храм.  
К тёплым суглинкам уклонов  
лепится троица ив.  
Тих, словно инок Платонов,  
светится белый налив.

И над пустым котлованом —  
ныне лишь хлопоты кур,  
там, где за бурым бурьяном  
рай багрянел — Чевенгур...  
Сонно июльское лоно.  
От буерака взойду  
к церкви лебязьей, исконно  
моющей крылья в пруду.

И у сосновых дверей я  
в Иверские образа  
гляну — и встречу Андрея  
скорбно-земные глаза.  
Тихо. Лишь вечный ребёнок —  
кроткого гения бронь...  
Бродят, поодаль иконок,  
рыжий, с репьями, телёнок,  
серый, в антоновках, конь.

\* \* \*

С окрасом зебры, с тонкостью жирафа,  
с павлиньим оком понизу крыла,  
мой парусник летит, и август Кафы  
колышет у посуды вымпела.  
Здесь на отшибе, у дворца Стамболи,  
у минаретов и узорных стен,  
тихи сады, от моря веет солью,  
и зной времён течёт без перемен.  
Ну, разве что торгаш, хозяин-барин,  
не уберёт под феской головы.—

На то и век — не больно лучезарен,  
бесстыж, разбоен, мерзостен, увы...  
Жар неподвижен. Время — густо-медно.  
От кофия слипаются глаза.  
Но, суре вслед, орнаменты заветны,  
и не повсюду сбита бирюза.  
Снуёт мой махаон, цветок летучий,  
легчайший геральдический зверёк.  
Когда б не падший взор звезды падучей.  
и я б летал... Хотя бы между строк.

\* \* \*

Разносчик пахлавыв, как бы хормейстер ос,  
вдоль броуновских струй амброзии снующих,  
хромает.— Пехлеван на левый бок чуть кос,  
являя вещь в себе и смесь упорно сущих  
ухваток и примет. Сей тщательный торгаш,  
с татарскою уздой в узбекистанском взоре,  
меняет день за днём, полней, чем баш на баш,  
свой танец трудовой на гульбища у моря —

на краткий кайф чужой, на чмокание в устах  
инжира и халвы, цуката и щербета.

Снуёт разносчик яств за совесть и за страх.

Исламские глаза — вернейшая примета  
того, что курултай ни джина, ни вина  
не пустит на порог, смакуя чай зелёный.

Почтенье, Тохтамыш! И всё же я до дна  
допью и в этот раз гранчак свой забубённый,

чтоб снова семь ночей таврийский Карабах,  
мой Чёрный вертоград, соратник и подельник,—  
с улыбкою в глазах, с портвейном на губах,—  
твердил мне, что не гость я здесь и не бездельник,  
а самый твёрдый знак сих вавилонских мест,  
живимых и моей, и басурманской кровью...

Вино здесь не пьянит. Уснуть под шёпот звезд,  
под ровный выдох-вдох украденных невест,  
под волхованье волн, прильнувших к изголовью...

\* \* \*

Двор, полночь, юг. Цветок стихотворенья —  
табак, горчащий нежностью нежданно...  
В султанах, от луны и лампы тени,  
на мел лачуги брошенные странно,  
сплетаются причерноморской страстью  
в любовные обманы-чародейства.  
А лоз июльских пальцы и запястья  
всё тянутся к белёным стенам детства,

где ничего — не поздно, не зазорно,  
ни в брызги, ни в осколки не разбито,  
где золотятся виноградин зёрна  
сквозь мякоть, как зеницы неофита...  
Уснула в доме Оля-оленёнок,  
дитя-тинэйджер с Грузией в ресницах.  
Слой кафкианской ночи Кафы тонок,  
где — бархатцы, где сам я, байстрючонок,  
пью пай свой меж хозяек лунолицых...

## ЗАПАХ

Бормотун, домовик неказистый,  
скособоченный временем том...  
Эта книга из рук букиниста  
пахнет давним чужим табаком.  
Нет, бывшее в потёртой обложке  
я недаром сегодня раскрыл.—  
Горьковато-пахучие крошки  
встрепенули молекулы крыл.

Чей-то взор, настагающий, смелый,  
меткой искрою брызнул в меня,  
штрих-пунктирную ниткою белой  
дёрнул зуб из молочного дня...  
В этом сне моя кожа упруга,  
там опять наяву я смеюсь,  
ни кривого порочного круга,  
ни своей прямоты не боюсь.

Та же нитка на шею надета —  
с белым кремнем, омытым в реке.  
Налегке беспредельное лето,  
бесконечная жизнь — налегке!  
Свет веранды. И деда приятель  
тем же, давним, горчит табаком...  
Вишни красные, белая скатерть.  
И лимонница под потолком...

\* \* \*

С утра побрившись бритвою Оккама,  
я повторяю: «Не печалься, мама.  
Не плачь ни о себе, ни обо мне...»  
То, что к сердечной правде не сводимо,  
должно пройти, да и проходит, мимо.  
Всё наше, мать, на нашей стороне!

Закваска веры с долей фатализма  
для нашего природна организма.  
Другие дрожжи в климате дурном  
способны зиму выдюжить едва ли...  
Пусть о чужом бряцают на кимвале.  
Мы настоим, без крика, на своём.

Наш выбор до конца пребудет с нами,  
как шапка денег с сучьими сынами.  
Лишь тем и буду, кто я вправду есть.  
Порезав кожу бритвою Оккама,  
не кровь я со скулы смываю, мама.—  
Острей и откровенней чую Весть...

\* \* \*

Видна ль Тебе моя борьба?  
Я не стираю пот со лба,  
лишь молча, прикусив язык,  
рыхлю апрельский Твой цветник.  
От крана приношу воды  
к корням пионовой гряды.  
Согретой почвы анашу  
вдыхаю и вовсю гляжу,  
как сызнава пиона куст  
бутонами — розовоуст.  
Видна ль Тебе моя борьба —  
восторг склонённого горба,  
разгулье мышц после тюрьмы

гиперболической зимы,  
где месяцев не шесть, так семь  
пароль был «хлад», а отзыв «темь»?  
И вот, в руке Твой чернозём  
размяв, я думаю о том,  
что он — темней, я — чуть светлей,  
но мы уже одних кровей.  
Позволь продлить мне этот ход  
челночный — то опять вперёд,  
к железом пахнушей воде,  
то вновь — к пионовой гряде.  
Позволь ещё! Я так привык,  
что здесь — и Твой, и мой цветник.

## ИЗ «ГАЛИЦКИХ ПЕСЕН»

### 1. Через полвека

Пересчитать все львовские соборы,  
в лазури искупать все купола.  
Здесь львиных грив вельможные уборы  
июль ещё не выжег добела.  
Семь раз по семь отстрекотали годы —  
я не был здесь почти полсотни лет,  
и позабылась полуявь прихода,  
лишь смутно брезжит повивальный свет.

Лишь брызжет тот же, прежний, зной июля  
на патину шатров и куполов,  
и камни, что средь зелени вздремнули  
во сне лепечут мой месяцеслов.  
И узнаю я в нраве глыб старинных  
свой навык — в неподатливости жить  
и страсть свою — в земных увязнув глинах,  
но не отрекшись, с небом говорить.

И, кажется, я — свой в сём Вавилоне,  
что многоцветен и многоедин. —  
В монашеском дерюжном балахоне  
мы нежим Книгу, град мой, господин!  
Корнякта шпиль, Святителей часовня,  
и на откосе храмовой горы, —  
Господней лепоте июля ровня, —  
хоромы копыеносного Юры...

О, словно в отчий дом, войти в соборы!  
Через полвека в повивальный град

вернуться, чтоб услышать не укоры,  
но стрекотанья стрелок и цикад.—  
Они вот-вот поведают мне что-то,  
о чём я сам не вспомню никогда...  
О, львиный полдень! Вещая дремота.  
Из-под корней журчащая вода...

## **2. Утро Преображения, Стрый.**

Стебник, Гай на холме, а за ними и Стрый.—  
Наконец-то и вызрела, старый-старый,  
в городке твоём, стрийско-австрийском насквозь,  
лозоходца лоза, Спаса-праздника гроздь.  
Крупноплодный, двory осветил виноград.  
Что ни ягода в грозди — сестрица да брат.  
Поцелуем багряное греет вино,  
время ереси в терпкость глотка сгущено.

И губам «изабеллы» по вкусу сродни  
забродившего августа-солода дни.  
А когда на заре, в восемь тридцать утра,  
мне развяжет язык винопитья игра,  
я признаюсь ещё раз себе самому,  
что и сам я вот-вот провожу по уму  
всё своё, что пронёс за душою, с собой,  
через милость сестёр и собратьев разбой...

Но пока что, воздушней, чем с грядки укроп,  
греко-римский псалом освежает мне лоб.  
Свята мята вплетается в мову мою,  
и у белой хоругви поют, как в раю.  
В разноцветных фруктовых корзинках народ  
к августовскому храму надежды несёт.  
Пламенеет Тарас, стынет навзничь Андрий,  
и в изюмины глаз Спасу молится Стрый...

## ЧАСЫ

*Е.*

Разноцветных зверей и растения  
подарил нам июль для любви  
и цикады нездешнее пенье  
растворил в разогретой крови.  
Слюдяные скрипичные трели  
на макушке горячей сосны  
марсианским песком шелестели  
и сшивали лоскутные сны.

Хорошо. Очень близко от моря.  
Пахло хвоей и плотью жары.  
В шелестящем волны переборе  
таял голос троянской сестры.  
Что за имя она повторяла,  
отпуская с ладони цикад?  
Радость солнечная не стихала  
день, седьмой... Всю неделю подряд.

Оседая оранжевой пылью  
в часовом обоюдном стекле,  
блики атомов времени плыли,  
осыпая цветы на столе...  
Что за имя — Елена, Эллада? —  
тенью бриза прошло над виском?  
Длился полдень созвучья и лада.  
На сосне рассыпалась цикада  
летописным троянским песком.

\* \* \*

А если до июня доживал ты,  
то каждым днём июньским дорожил  
и чувствовал, влюбляясь,— ветер с Мальты,  
акаций запах, хлопанье ветрил.  
И если добредал ты до июня,  
то возвращался от избытка сил  
в гортанно-белый город Ла-Корунья,  
где ты полдня, во сне, проездом был.  
Но пуще всех — таврический поселок,  
где зреет густо-красное вино,

в тебе, июньском, ярок был и колок,  
был на все сто — с тобою заодно.  
Там брызги — на сандалиях подножья  
вулканов и шиповниковых гор,  
там первозданный привкус Царства Божья  
хранит в себе рубиновый кагор.  
В ночь уплывала ласковая лгунья,  
чуть серебрясь и «чао» говоря...  
Но ты, коль добирался до июня,  
уже готов был плыть до сентября.

## СУМЕРКИ ЛИЛЛЯ

Шалый ветер из Гента занёс меня в Лилль.  
Ещё утром, во Фландрии, угольщик Тиль  
Уленшпигель, — зеркала и филина брат, —  
не жалел мне энергии, эм-цэ-квадрат,  
подавая осенний эспрессо к столу,  
обжигая листву в золотую золу...  
Говорить по-немецки с фламандцами — гут!  
Понимают и кофе охотно несут. —  
Жаль мне Гент покидать, но однако же, в Лилль  
въехал к вечеру я, в крепкокаменный вилль,

ибо резвый сквозняк продувной меня нёс,  
ветер странствий влачил, скороход и матрос,  
то по рельсам ездок, то по тучам летун,  
неустанный — что в зной, что в мороз-колотун...  
Впрочем, вечер сентябрьский был ясен и тих,  
не суля ни дождя, ни осадков иных.  
Зажигались на Ратушной площади бра,  
и пилонами высилась Лилль-Опера.  
И с гранитного цоколя бронзовый страж  
озирал из-под длани — заката мираж.

Но внезапно, но вдруг — молодой ещё свет  
обратился в тревожный, в густой фиолет...  
И Атлантики воздух так враз потемнел,  
что на миг я себя ощутил не у дел:  
что за бес-сомелье заманил меня в Лилль?  
Чьи три тысячи лье, соответственно миль,  
соответственно вёрст, — на метле, по петле, —

прочертил я, чтоб вдруг, в сине-чёрном стекле,  
оклематься, очнуться — один на один  
с зазеркальной тягой утробных глубин?  
И едва не завыл во мне пёс Баскервиль:

«Не ослаб ли душой ты в походе на Лилль?  
Не забыл ли священных примет по пути:  
не зевай, не моргай, на лету не свисти?»  
Но, всю грудь осенив широченным крестом,  
чьё-то тень я пугнул, чей-то призрак-фантом...  
И пошёл ночевать на арабский чердак —  
да с покупкой «Бордо», а не как-нибудь так!  
Ибо вправду — чем кровь винограда темней,  
тем чужбина к тебе подступает родней,  
подливает и врёт всё теплее: «Месье,  
будет утром — тре бьен, будет всё — монпасье!»

## ПАТРИАРХУ

Притчи Борхеса, Хорхе Луиса,  
плошка риса, полчашки маиса.  
И чего тебе больше, бедняк?  
Разве склянку зелёного зелья?  
Так оно ведь давно не к веселью —  
то к депрессии, то аж никак.

Притчи Борхеса, мачо слепого,  
золотое кастильское слово,  
аргентинской травы серебро.  
Парацельса целебная роза...  
В жилах Цельсия — тридцать мороза  
на равнине, сломавшей ребро.

Здесь, в краю беззаконной развязки,  
где из лыка и марли повязки  
лешаку и лишенцу — к лицу,  
ляпну снега на рваную рану,  
в серый полдень пальну из нагана  
и на лыжах махну по Донцу...

Карки Цахеса, карлика злого,  
исклевали сердечное слово.  
Ворон рвёт огневую лису.  
Что осталось мне? Хлеба ковригу,  
стыд в глазах и о будущем книгу  
в конуру на ночь глядя несу.

Притчи Борхеса перечитаю.—  
Не витийствуя и не витая  
в эмпиреях, мудрец повторит,  
что Содом — не критический случай,  
если выжил в нём некто живучий —  
или праведник, или же лучше:  
грешник, но не утративший стыд...

\* \* \*

Отстранённо-властительно смотрит в лицо нам природа:  
видит ум углекопа, пропахший солярой астрал —  
территорию пагубы, девять кругов без исхода...  
И о том ещё царь Соломон на кольце написал.

Для того и в патентном бюро цыпка-скрипка Айнштейна  
доказала припев о реальности мнимых корней,  
чтоб над плоским пейзажем догадка росла вертикально:  
умирать надо подлинней, чтобы воскреснуть верней!

Время целит в зеро, добавляя азарта вращенью.  
Но энергия третьего глаза сквозь полночь ведёт  
неопознанный след, однострочное стихотворенье,  
чередую, как точку, тире: рифмоплёт, звездолёт..

## ИЗ «ПЕСЕН О ВОРОНЕ»

### 1.

Старый ворон с космами под клювом.  
Комли груш — в лишайниках зелёных.  
Жизнь пытит, в подсосах и поддувах,  
с дырами-прогрызами в законах.  
Сгорблен бородач-вещун на груше.  
Хлещет дождь, и вся дорога в ямах.  
Мне ли о тепле вздыхать и суши  
в ветровых, насквозь промокших ямбах?

Оттого и выживу три раза,  
что для срама жизни непригоден,  
что от двоедушия и сглаза  
с музыкой сбегу по непогоде.  
Мокрый карк на придорожных ветках  
столь правдив, что чуешь: это — кровно...  
Ты ли, мама, в тяжести на веках,  
ты ли в ноте каторжной виновна?

### 2.

Люблю метель — заряды ветра в очи,  
в помятый жизнью, недобрый фейс,  
ловлю пунктиры снежных многоточий  
лбом «Жигуля», нацелившего в рейс  
зубило хищноватого капота,  
вчерашнего дизайна образец...  
Есть в скорости и в дрожи стрелки что-то  
от сущих параллельно сфер, колец.

И даже если принцип Гейзенберга  
тебя в упор не хочет распознать  
в метельном дне, где на тебя низвергло  
отечество всю дурь и благодать,  
ты был и есть, и будешь в нём. — Родитель  
всех чад, зачатых вьюгой молодой...  
Пределов-беспределов охранитель,  
не мерин-врун, но веший вран седой.

## 3.

Стервятники, разбойная родня:  
сивей — Пугач, а тот, черней, — Распутин.  
Два ворона на мартовском распутье  
сидят и ждут — меня ли, не меня?  
А синий март до одури хорош,  
до рези ярк молодостью смелой.  
Привет, Григорь Ефимыч, криво дело!  
По ком скрипишь, перержавелый нож?  
Какой бы склянкой сини мне черпнуть,  
чтоб холодно и солнечно напиться

из воздуха? Звенит река-сестрица,  
вздымая берегов-крахмалов грудь.  
А день насквозь, пронзительно хорош:  
искрит, на сломе наста лиловееет.  
От моря снова влагой воли веет,  
и смерть ещё не мечет на кон грош...  
Вот путь мой — солнца щедрая мазня!  
А в точном чертеже — не больше сути.  
«Дорога — дорога!», — клеочут судьи,  
два ворона на жиже-перепутье,  
на снежном киселе, моя родня...

\* \* \*

Вырастают деревья и форму пространства меняют,  
и уже не узнать обветшавшие за год дома.  
И поспешные грозы весёлую грусть проливают  
на кирпичные ульи, на каменные терема.  
Зеленеют, блистают, густеют блаженные купы.  
Как люблю я ветвей простодушную щедрую плоть!  
Да пребудет мне в радость тарелка пустейшего супа,  
лишь бы снова дарил эти майские грозы Господь!  
Только б снова омыл эти липы сверкающий ливень.  
Вот стихает гроза — словно страсть, опадает вода...

И оттаял под сердцем зимы мастодонтовый бивень,  
и почуял я вновь, как по жилам струится звезда.  
Жаль, что короток май и не вечны венчальные грозы!  
Тает белое время каштановых губ и очей.  
И летят лепестки — белизна с алым крапом угрозы —  
шелухой опадают — ненужною, серой, ничьей...  
Но над почвами — выгиб небес, справедливая сила,  
что по зоркости глаз и по имени нас нарекла,  
что у слабости нашей согласия не попросила  
и бессмертье души нам дала — не со зла, не со зла...

\* \* \*

В чертополохе шмель и махаон  
с цветков лиловых пьют июля брагу.  
Свет полудня горяч со всех сторон  
и плавно вхож в таврическую сагу.  
К холму Гурзуфа ты, в который раз,  
к разбой-траве, малиново-колючей,  
принёс запах художнических глаз,  
любвонной встречи полнозвучный случай,

чтоб все пять дней вместить в просветы строк,  
в прогулы меж ворсин медовоцвета...  
Вновь парусник спиральный хоботок  
вонзает до упора в мякоть лета.  
А твой зрачок опять скользит вперёд,  
в пространства,— по верхам лилово-сивым.  
И звон сердечной жиле придаёт  
не статика, но суть — но суток ход  
к полновоздушным вечности извивам...

## **СОБАЧЬИ СКАЗКИ**

### **1. Ночная просека**

Если бы лунный надкушенный грош  
не укатился за озеро крыжня,  
если бы Старой Медведицы ковш  
не зацепился за сосны неслышно,  
если б над просекой крылья совы  
не заметались в разбойничьем мраке,  
жутко касаясь пером головы  
рядом со мною бегущей собаки,

если б не это бродяжество в ночь  
вместе с ледащей дворнягой Дунаем,  
если б не тени разлапистых порч,  
что на рассвете едва ль замечаем...

Чур меня!

Я и не знал бы о том,  
как ясноглазы огни-домочадцы,  
как хорошо — в человеческий дом  
из темноты наконец постучаться...

### **2. Старый пёс**

Зазывы утиноного кряка  
слышны далеко над водой,  
и ящериц ловит собака,  
прибрежной шурша лебедой.  
Завидую — как беспечален  
стареющий трёпаный пёс!

И даром, что хвост измочален,  
и розовый шрам не зарос.

И даром, что умную морду  
корёжит, у губ, седина,  
что костью хребтовую твёрдой  
уже не хрустит старина.  
И даром — репейное поле,  
собачья бездомная былъ  
насыплют на ссадину соли,  
на зубы — скрипучую пыль...

Не сыт, а зато не стреножен!  
Куском да пинком не пленён.  
И, злыдням назло, — всё не гош он  
на корм для лохматых ворон!  
Вот гнутые месяца рожки  
всплывут из полночной воды —  
и вздрогнет дворняга сторожоко  
под боком у колкой скирды...

### **3. Перед циклоном**

В знойные пагубные вечера,  
лая, на вой переходит собака,  
и в глубине предциклонного мрака  
полнится тьма вороного крыла.  
Тянет селитрою, прелым зверьём,  
укусно-угольным чадом шашлычным,  
мышью летучей, при слове обычном  
жутко шмыгнувшею за окоём.

Пахнет жестокостью смутных времён,  
средневековой ущербностью мира,  
юностью в кухне облезлой квартиры,

жизнью, ценою в трамвайный талон...  
Веет ещё Веды ведают чем  
от обречённости пёсего воя —  
бешеной молнией шаровую,  
самосожженьем астральных систем...

Но над тревогой угарных примет  
речка повеет линиями и тиной.—  
Ровною влажностью пенициллина,  
мудростью-плесенью прожитых лет.  
И подмигнёт над зубчатой сосной  
голубизной дальнозоркой Венера:  
«Чай, пронесёт! — Не слетятся химеры  
на кобелиный испорченный вой...»

\* \* \*

Живу, как всё непрочное, наощупь,  
предзимним расширением зрачка.  
Лещиной бы — вселиться, вжиться в рощу б,  
без лишних слов «прости» или «пока»...  
Уйти — и кто жалел бы о пропаже?  
Лишь ты, единокровное дитя...  
Вот так и каюсь, и грешу сейчас же,  
то сусликом, то зябликом свистя.

Июльский день всё шлёт мне телеграмму.  
Но Брейгель выслал в путь своих слепцов,  
и вождь без глаз уже нащупал яму  
для нерождённых и для их отцов...  
Но, если б взять с собою посох Босха,  
глядишь, ранимый край добрёл бы с ним —  
до первоснежья, до слезинки воска...  
До Святок, серафим Иероним!

\* \* \*

О Хронос и Харон, хрипучие прозванья...  
Безрадостной реки холодная вода.  
Гребец глухонемой приходит на свиданье —  
и лодка, и весло готовы для труда.

Старательный Харон, могильщик неприветный  
с карающим веслом в натруженных руках...  
А яркий махаон и парусник стоцветный  
остались на других, зелёных, берегах.

Там белое весло и лодка голубая.  
На жарком берегу всю цветёт паслён.  
Прощаясь дрожью крыл,  
над нами пролетая,  
так долго машет вслед искристый махаон!

\* \* \*

Сирень, пионы. Стихотворец-май.  
Намаешься с его хмельной повадкой.  
То солнцу, то слезам небес внимай  
над в клетку разлинеенной тетрадкой.  
Не в шутку, а всерьёз сложилось так —  
до слёз светло над рифмой маломальской.  
Вот так же честно плакал Пастернак  
над женственной распутицей февральской.  
Борис ли Леонидыч насвистал,  
ожёг ли рот я «горькою от Борьки»? —

Но снова в мой полночный мадригал  
цветеньем веток ломаются задворки.  
На то и ночь — как песня «Караван»,  
чтоб во дворе, акацией укрытом,  
я смог бы спеться, через океан,  
с потомком Баха, Бахуса — с Бахытом,  
которому я не соврал: «Люблю!»,  
а он: «Аналогично!» — сдал мне сдачу..  
В шагренях мая до утра не сплю,  
не подстелю соломки скрипалю,  
лишь лёгкости смычка в ответ — заплачу...

\* \* \*

День просветлел. Ушёл тяжёлый дождь  
недоброго осеннего разлива.  
И синий взор метнул индейский вождь  
сквозь листья клёна и косицы ивы.  
И странно — вновь на сердце у меня  
не поздних лет потери и разлуки,  
но давних игр ребячья беготня —  
из ясеневых веток копыя, луки...

И полон предвкушением побед,  
молниеносных и неоспоримых,  
день счастья, золотистый на просвет, —  
без чисел отрицательных и мнимых.  
Без имени, без даты, без примет,  
без фабулы какой-либо особой,  
он светит мне всю так много лет,  
как будто он и я — бессмертны оба...

\* \* \*

Айвазовский проспект Галерейная пересекает.  
Протянувшись вдоль моря, нагрелся под Цельсием рельс.  
Привокзальное радио снова «Славянку» играет,  
чтоб в слезе расставанья чистейший блеснул эдельвейс.  
Снова сутки свиданья с портовой фартовой Кафой  
отлетают, подобно отрывку из ретро-кино.  
Каплет в рюмку мою «Пино-гри» виноградников графа —  
становясь, словно прошлое, правдой, густеет вино.

Словно плюсквамперфект, навсегда загустевшее время,—  
эти минус три четверти века... Со снимка глядят  
дед Иван и отец. В Феодосии, в здешнем эдеме,—  
так же свеж их зубов рафинад, как загар-шоколад.  
Не осталось уже никого с августовского фото,  
где на лицах цыганских лучились весельем зрачки...  
Веет вечер над Кафой две тыщи десятого года —  
карусели приморской дрожат золотые жучки.

Окликаю и По, и печальника-странника Грина,  
Александра — вослед Македонцу, Арапу вослед.  
Я ведь сам — иноходец Ивана и сын Константина,  
коих в Малом Стамбуле со мною как будто и нет,  
но которые живы и набраны чётким петитом  
в каждой строчке моей, в каждой рифме — один на один...  
Полнолуние — над Феодосией. Свет — над реликтом  
звероватого, в сетке столетий, холма Карантин.

\* \* \*

Опять чугунный монстр в чугунной кепке,  
торча торчком, венчает пьедестал. —  
Феодосийский низенький вокзал  
с колоннами минималистской лепки,  
как прежде, жмётся к ветке рельс и шпал,  
и привокзальный запах аммиака,  
живучий, как бродячая собака,  
покусывает щебень и металл.

Немытый поезд, харьковский рыдван  
в четыре сорок подгребает к Понту.  
Ещё чуть-чуть — и солнце к горизонту  
поднимется, реализуя план,  
начертанный Коперником и Бруно, —  
усилиям Создателя вослед.  
Сулит ли метафизика планет,  
с учётом фаз Урана и Нептуна,

глоток удачи тем немногим дням,  
что вырваны из вязкости батрацтва  
для Кафы, для ритмического братства —  
уже с обрывком жала пополам?..  
В четыре сорок поезд смутных дней  
со скрипом тормозит у кромки моря,  
которое рифмуется с «лав стори» —  
и в русле лет, похоже, лишь хмельней...

Похоже — длится позапрошлый год,  
на склонах Карантина ночь средь башен.

Скудельный кайф твой, Кафа, жив и влажен,  
и есть в тебе подземный тайный ход.  
И, чем короче встреча, тем верней,  
тем ясноглазей и моложе рифма.  
Над аммиаком, Кафа,— свежесть мифа!  
О ком я? О тебе. Но — и о ней...

\* \* \*

Медово-горький запах чернобривцев,  
горячий цвет — навывлет, напролом —  
пронзает прозаических спесивцев  
в те дни, когда уже стрекозий дом  
стал дымом, и когда ревнитель правил,  
Эзопа протееже, Иван Крылов  
в стрекозьи пляски жала строк направил,  
а муравью пяток похвальных слов,—

по существу, по трудовым заслугам,—  
в хрестоматийной басне посвятил...  
Осенне-терпкий запах ходит кругом  
вокруг махровых бархатцев-светил.  
Какие песни лепет дней приносит,  
каких стрекоз выцеливает влёт! —  
То рифму, моложавую сквозь проседь,  
то в чернобривцах — пряность поздних сот..

\* \* \*

*И.*

Дай мне тёплую руку, моя полонянка-супруга!  
Заблукали бы мы в половецком снегу друг без друга.  
От звонка до звонка  
мудозвона-будильника — буднично жизнь протекает,  
подтекает на стыках, ни мне, ни тебе потекает.  
В общем, длится пока.

Дай мне компас и карту провинции алмазоносной,  
потому что ни с шулерской шоблюю, ни с Коза Нострой  
не делить мне гектар.  
Запишаю в я в куртку походную мятую книжку,  
поцелую в глаза и в упрямые брови мальчишку —  
неразменный наш дар...

Спой мне рифму, раба и царица, жена и подруга!  
Иль утихни, смекая, с какого я гиблого струга:  
персианской красы  
в ямах омутов-ямбов утоплено много ли, мало...  
Не хватало ли хватки? Врежён ли, пространств не хватало?  
Телефон и часы,

телевизор квадратный с квадратною в нём головою  
с подоконника сбросить бы — скудное, полуживое...  
Да и в то же окно  
отлететь бы в четыре крыла за тишайшей наградой  
над железными крышами сборно-бетонного града...  
Может, так и дано.

Ну, а может, и сбудется встреча с удачей мирскою,  
чтобы с хлопчиком вместе погладить волну нам с тобою,  
Аю-Даг, синеву.

Слух ещё бы сберечь нам, дрейфуя из века в столетье,  
ведь, когда не услышат меня ни медсёстры, ни дети,  
я тебя позову.

\* \* \*

На то и надежда, что сложатся минусы в плюс,  
пускай и грозит, что ни день, на зеро умноженье.  
По-шулерски карты сдаются, да так, что и туз  
не в силах уже осадить турбулентность снижения.  
Садится на пузо простреленный твой самолёт.  
Хоть нет полосы, а зато есть бурьянное поле!  
Очнёшься — и слышишь: сверчок ободренье поёт  
тому, в ком не выжжена вера, не сплющена воля.

На то и надежда, что в бесчеловечной стране,  
в державе, где нежитью смяты огни и Заветы,  
есть люди без страха, в глазах у которых вполне  
рождается свет — умноженье всеобщего света.  
На брюхо садится подбитый твой аэроплан,  
стрекозий биплан из кленовой слоёной фанеры. —  
Трещит, но не рвётся, поскольку подоблачный план  
скрепляет свой стих единением воли и веры.

Натруженный вор, напوماженный политикан,  
бездарный актёр и смотрящий всего Армавира,  
внезапно скончается от неопознанных ран  
по ходу спектакля, у рампы прямого эфира...  
А твой самолёт, деревянный архангельский глюк,  
живей всех условно живых и реально богатых,  
упрётся в суглинок, и сердца железного стук  
отчётливо крепнет в картонных летательных латах...

\* \* \*

*О. М.*

Говори, говори о плечах европейнок нежных,  
гнутоклювый и чувственный, слабый и вечноживой!  
А замолкнешь — лишь ветер и взвояет  
в пределах бесснежных,  
пережёванных, сплюнутых золотозубой Москвой.  
А смолчишь — только падальщик и прохрипит  
над равниной,  
костяной распахнув, с кумачовой нутрянкою, зев.  
Азиатские скулы холмов перемазаны глиной,  
и по мокрым щекам прорастает озимый посев...  
Не молчи — да пробьётся высокий обман говоренья  
через вязкую кривду осенних и зимних дождей!

Городская квартира больна теснотой и мигренью,  
а за окнами — неразличимость случайных людей.  
Не смиряясь, бубни, пересмешник надсады и горя, —  
и цитату цикады, и лиса Улисса завет!  
Отчего в этом чуждом для жёстких ушей разговоре  
неизбежность сквозит, как под дверь проливается свет?  
Есть отвага предчувствий. И ею пульсирует вена,  
в её ритме возможно вразрез пересечь ледоход.  
Причастись — и над чёрной водой пролетишь непременно.  
Как напомнил ещё один Осип: «Решимость ведёт...»

## **БРЮГГЕ**

Здесь рай — из воды Летейской  
и Адамова кирпича,  
словно вычерчен ход ладейный  
вдоль всего рычага-плеча.  
Вертикальность координаты  
отразилась плашмя в воде,  
причащаясь к аскезе богатой  
и к родной дорогой руде —

к ранне-утренней выпечке глины,  
чей закал — звонкотелый хлеб...  
Для бродяжьих душ — именины:  
прислониться хотя бы где б...  
Но под зеленью бронз Ван Эйка,  
где канал упирался в страат,  
я, влюбляясь в бемоль римейка,  
сам себе стал нежданно рад!

Мне всё пел из-под мака-тюбана  
бей с Балкан, оттоманский грек,  
что все струны проток без обмана  
в сумме точно журчат: человек!  
Если ж там, где правды уснули,  
в отчих кривдах, за торгаша  
не дают рикошетом ни пули,  
ни полслова, ни решки гроша,

значит, подлинно каялся Брюгге,  
чтоб из чести не вычесть чек,

чтоб над торгом отстроить дуги —  
вдохновенно, как Ян Ван Эйк!  
С иноземцем в красном тюрбане  
я бродил, и сквозь осень-свет,  
сквозь пейзажей морских дыханье  
проникал стрел-зрачков дуэлет.

Гляну в воду — жемчужен Брюгге!  
И разгладив салфетки клок,  
я на фоне кофейной разлуки  
напишу о любви пару строк:  
«Даже ежели Льеж ревнивый  
забрюзжит кружевнице «Брюж»,  
всё равно, мой гарант горделивый,  
град-лабазник с душевной поживой,  
удержу твой узорный гуж!»

## ЛЪЕЖСКИЙ ОСТРОВ

Кто кожей во Льеже ощутит  
холмов полноваллонское волненье,  
тот смелости посмеет-посвятит  
стихотворенье.

Он замысел Мааса и посул,  
движенье-подвиг водного напора  
и угли ражих барж, их чёрный гул,  
сморгнёт не скоро.

Он будет поутру опять готов  
к предательствам и ревностям-раэдорам,  
надеясь лишь на преданность мостов  
быкам-опорам.

Когда открытым текстом держишь путь,  
не счесть подвохов на большой дороге.  
И подавляют точной ноты суть  
шумы тревоги.

В прицел же глянь, в метафоре замри,  
чтоб остров посреди Мааса, в Льеже,  
дышал бы, словно остров-сон внутри, —  
осенне-свежий.

Вдоль набережной листьев желтизна  
по шашечкам ведёт к мосту Альберта  
двух странников, чья дымная страна —  
бурьян-омерта.

Что, если вправду гул плохих кровей —  
свежее здесь, на приарденнском бреге?

Что, если сцепок-циклов здоровей  
лучей разбеги?  
На Рю де Парк хохол, бурят, валлон,  
знаток координат, аккордов мельник  
коту откроет двери на балкон,  
дабы в осенний воздух мявкнул он:  
«Вновь понедельник...»

\* \* \*

Бабочки, призраки птиц или Бэтмэнов тени  
множась-мелькая, мнутся в весенней ночи.  
Смокла орава лягушек, оглохнув от пенья...  
Полною грудью вдыхая пространство — молчи!  
Крепнет всезвучие в паузе этой счастливой.  
Окна раскрыты, чтоб мог ты пожить среди ветвей,  
в облаке, вспененном белоцветущею сливой,  
в нежном фаворе барочных и млечных кровей.

Рамы распахнуты в ночь — и душа улетает,  
словно смеясь, репетируя райский отлёт.  
Майские ветки свой цвет в темноту осыпают.  
Верною псиною тычется время в живот.  
Носом прохладным овчарка по имени Лада,  
жмётся к тебе и вселенской любовью сопит.  
Сколь многозначны ночные фантомы! Не надо  
звуком случайным тревожить точнейших орбит.

\* \* \*

О, розовый мускат под закуску помидора!  
Лепечет брат-июнь в полёте, в лепоте.  
Увы, аптекарь мой, твой корень мандрагоры  
не выморил меня... На клетчатом листе —  
опять искрит мускат от «Киеввинзавода».  
Каких уж там щедрот плеснула мне бутыль,  
не знаю, но готов от апогея года  
и лично от себя воскликнуть, что фитиль  
ямбический горит, не гаснет, что с хореем  
охотно он гудит за дружеским столом,

что весям, городам, полкам и батареям —  
не будет мало рифм! — Ни завтра, ни потом.  
А на душе моей царит просторный праздник:  
летят по ней стрижи, восторженно свистя, —  
мой мальчик Мирослав, затейник и проказник,  
трагичное в своей гармонии дитя,  
уже приехал в Крым, в Гурзуф. И по мобиле  
услышал с юга я поэзии слова:  
«Клубнику продают, черешню. В полной силе,  
цветёт иудин куст. И море — двадцать два!»

\* \* \*

*М.*

Ниндзя ветра и ниндзя воды —  
мы с тобой, мой компьютерный отрок.  
Все свои новоделы-труды  
отдаю за бесценный твой облик.  
Ни за что со щеки не сотру  
имя — колкое счастье родное,  
ломкий мой стебелёк на ветру  
и подранок времён паранойи...  
Ниндзя нежит пронзительный меч  
и без слова, без звука клянётся —

от подземных толчков уберечь  
вишню-облако, матрицу солнца.  
Так и мы,— двое храбрых,— с тобой,  
цвет-подсолнушек, чубчик пшеницы,  
догоняем высотной тропой,  
словно лётчики или же птицы,—  
уносящийся с посвистом смысл,  
завихренья-обрывки обиды,  
неприветливость кодов и числ...  
И в окне ноутбука завис  
меч индиго на сдвиге Эвклида.

## II

---

# *В неслучайном году*

---



**БАЛЛАДА О «КАЛАШНИКОВЕ»**

Проезжая Черкассы, б/у вспоминаю, х/б —  
времена гимнастёрки, казённо-линялой холстины.  
И батяня комбат из районного ВИА «Любэ»  
не жалеет для резкости фейса трёхдневной щетины.  
Ты не ври мне, лазутчик, что Родины я не берёг.  
Я присягой звенел — с «калашом» на ремне и под стягом!  
Жаль, спилась милосердья сестра, и развесистый рог  
над могилой героя кустится — скрипит над оврагом.

Даже, может быть, жаль, что не сам я в той глине затих,  
упокоен гашишем, напалмом и долгом Афгана.  
Всё равно не простят мне открыток и писем моих  
ни секретный первейший отдел, ни отчизна обмана.  
Снится мне, что ограблены напрочь — и голый погост,  
и Чертановский, скажем, форпост многолюдного улья,  
что в правдивом том сне еле-еле я ноги унёс  
от осколка вдогон — лишь глотнув из воронки июля

отворотного зелья — в губительном сорок седьмом,  
в окаянном году — лишь глоток первородного света...  
Посредь зноя Черкасс впору сникнуть душой, и умом,  
ибо сохнут черешни и заводи давнего лета.  
Потому прежней радости, как бы ни рвался ты к ней,  
как бы к цацкам и пецкам её ни тянулся спросонок,  
не зови понапрасну во зле обличительных дней,  
Красной Армии сивый старлей, павилики ребёнок!

Только детства глаза постаревшее время ведут  
без напрасных упрёков и без тормозов малодушья.

Только юность отважными бликами дней и минут  
заряжает АК-47, добровольца оружие.  
Я за добрую волю с пехотной песней пойду  
и, затвор передёрнув, смягчу подорожником рану.  
Кто родился в одном с «калашом» неслучайном году,  
в светлоглазом и памятью неоскудевшем роду,  
помнит по именам — медуницу, лимонницу, Анну...

## ХЕРУВИМСКИЕ ХОРЕИ

### 1.

Помнишь, бабушка, в июне  
в тёмных сумерках светлы  
белолицые петунии,  
известковые стволы?  
Помнишь? — Звоны чайных ложек.  
В дверь веранды дышит сад...  
Тонкий, колкий, словно ножик, —  
и влюблённый! — внука взгляд

Там судьбе моей светила  
нежность чуть усталых глаз.  
Там огромным лето было,  
и равнялся солнцу час.  
Там плескались в светотени  
за штaketником цветы.  
В явь мою и в сновиденья,  
добрый друг, входила ты.

Никогда лихого срока  
не признаю... Ты живи  
в том июне, у истока  
бескорыстнейшей любви.  
Там, в саду,  
над старой грушей,  
как два облака, парят  
наши любящие души —  
восемь лет и шестьдесят...

2.

Снова снится лето детства,  
дедов, на две сотки, сад,  
райских зарослей соседство,  
Божьих тварей цветоряд:  
пёс весёлый, ангел шалый —  
девочка, чей сонный кот  
львиной пастью пышет ало  
в сладострастии зевот...

Каплет вызревший крыжовник  
с колко-цепкого куста.  
Я ещё — ничуть не кровник  
строчкам поперёк листа.  
Лишь тростинкой Назарея  
нижут в пропись надо мной  
херувимские хорей —  
сад земной и лад иной.

Там, лишь там, и дунул в уши  
чудодейственный язык,  
что целебным ядом в душу,  
в ядра атомов, проник.  
Снова снится детства лето:  
бабушка, за нею мать,  
корольки в коронах света...  
Ни измен, ни смерти нету.—  
Не мешают вспоминать.

## ВИНОГРАДНАЯ БЕСЕДКА

Виноградная беседка,  
вслед глотку — теплой беседа.  
Спелой яблоне-соседке  
улыбнётся дон де Седа.  
Тонкой девушке черешне,  
подошедшей в белом робко,  
приоткроет дон неспешно  
с марципанами коробку.  
Отворит ей кабальеро  
бронзой штопора бутылку.  
Яркий воздух, примавера —  
виришник, канувший в копилку.

Май был музыкой, а осень  
стала прозой зрелой силы.  
Виноградных гроздей просинь  
охру листьев оттенила.  
Держит за руку де Седа  
то ли сына, то ли внука.  
Их, без лишних слов, беседа —  
сокровенная наука.  
Время, резвая скотина,  
скачет рысью и без лени.  
То ли внука, то ли сына  
нянчит мачо на колене.

И поёт: «Мы едем, едем»,  
хоть давно идальго знает —  
то, что Бог дарует детям,

Он у взрослых отнимает.  
Всё, что Он оставить в силах —  
крохи памяти о рае,  
где среди охры в гроздьях синих  
можно жить, ещё не зная  
о конце, и, не старея,  
пачкать губы соком с ветки.  
Всех бесед с вином мудрее —  
виноградная беседка,

ибо там, на лавке, книжка  
с той же азбукой лежала,  
когда дон был сам мальчишкой —  
тем, которого не стало,  
но который обернулся  
мальчиком вторым и третьим...  
Туго узел затянулся  
дней и лет. Мы едем, едем...  
Виноградная беседка —  
вязь узора без укора.  
Брезжит райской синью сетка,  
уз и лоз живая метка  
от Небесного Синьора...

## **СРОКИ**

Я справочники лакомо листаю —  
фисташка и болотный кипарис  
шесть тысяч лет ветвятся-зеленеют.  
Наш путь земной, пожалуй, покороче...  
Когда ж устану попусту роптать,  
когда смирюсь, поставьте надо мною  
девичью тонкокорую фисташку  
и сумрачный плечистый кипарис...  
Хочу я в двух, мне кровных, ипостасях,  
в двух кронах, бессловесно говорливых,  
дожить виток шести тысячелетий,  
из-под ветвей лова голодным взором  
лимонницу,  
кутящую шесть дней...

## АЛЕКСАНДРУ ГРИНУ

Ветер занавеси клетчатые треплет  
за распахнутою дверью у крыльца.  
Трепет утра, молодого солнца лепет  
у ключиц, у полусонного лица.  
Ветер стенами дощатыми играет —  
и, качнувшись корабельной плотью, дом  
в полудрёме угловато уплывает  
за магнитный каменистый Меганом.

Киммерия, я плыву, твой гость нечастый,  
я не плачу об утерянном ключе!  
Злюка-ястреб, желтоглазый, голенастый,  
точит клюв на капитановом плече.  
Киммерия, из лилово-дымной сини  
веет свежестью имбирною зюйд-вест...  
Итальянские глаза Карассарини,  
чёрно-мраморный феодосийский крест...

Хороши арбузы в Кафе на базаре,  
но недолго кофе пакостный хлебать —  
вислоусый обоюдоострый парий  
цепью якорною звякает опять.  
Он забросит оспой меченную птицу  
на костлявое и твёрдое плечо...  
Будет то, что воле Божьей пригодится.—  
Полдень! — Ветрено, лазурно, горячо!

\* \* \*

Демон полдня движением страстным  
отторгает скудение: «Брэк!»  
Августовским оливковым маслом  
протирает смарагд-оберег.  
И стакан наполняя до края  
неопознанным местным вином,  
пьёт не в меру, не слыша, не зная  
поучений — ни духом, ни сном.  
Жарко-глиняный бражник зенита,  
василиск, гуманоид, циклоп!  
Голова твоя, Хронос, обрита  
и широк вулканический лоб,  
чтоб и клинопись, и пиктограммы  
на упрямом вместились челе,  
чтоб заветы отца Авраама  
со стихом о змее и орле —

породнились с Волошинским гимном,  
с ворожкой Мандельштамовых строф...  
Демон зноя в язычестве дивном  
воздымает излишества штоф,  
чтоб опять сквозь стеклянные грани  
приласкала в пространстве рука:  
опасенья, снованья, гаданья  
чада, зяблика и мотылька.  
Цел летун-махаон! Не застрелен,  
не изловлен хватательным ртом.  
И лимонниц, и парусниц-фрейлин  
сберегут воздуха на потом...

Что нам стоит — остаться живыми?  
Надо просто с утра захотеть!  
Демон Хронос — жестокое имя,  
но нежна его ловчая сеть.

## ИЗ «КАВКАЗСКИХ ПЕСЕН»

### 1. Альпинист

Камень-Каин, сколы-границы...  
Тих и мёртв Снежнейший барс.  
Горный ангел Хергиани  
оступился только раз.

Вниз несло, на скалы, тело.  
А душа на полпути  
ввысь рванулась.— И взлетела...  
Чтобы всё-таки взойти!

### 2. Гроза в предгорье

На грудь, на душу полстакана водки  
плеснёт электризованный апрель.—  
Полночная гроза в Железноводске,  
царицыного парка чёрный хмель.  
Нарост горы над старостью равнины —  
как бы земной переболевший глаз.  
Край Шамиля, опасный и картинный,  
седлом и мезью пахнувший Кавказ.  
Огромен и безумно-фиолетов  
разрыв изнемогающих небес.  
Над грядкой куполов и минаретов  
размашист молний кесарев разрез.  
И ливень тёмный, как лицо горянки,  
когда мужскому делу дележа

кладёт конец в гортанной перебранке  
стремительность фамильного ножа.  
В насквозь промокшей ливневой рубаше  
в уют-курытник затолкнут меня  
враждебных теней кислые папахи,  
зигзаги вертикального огня.  
И там всю ночь, сквозь сна и спирта зелье,  
мне будут резать слух, колоть глаза  
гремучей крыши ярость и веселье —  
арба, Армагеддона небеса...  
А утром — тихо, сыро. Априори  
размыты ненадёжные предгорья.  
И синий ствол так напряжён в руке,  
как дрожь струны во вздоре-разговоре  
на русском бы, казалось, языке...

### **3. Торговля**

В южном воздухе вызрел гранат,  
кровник яхонта, лала собрат,  
для ума и для сердца полезный.  
Густорозовый колер в плоды  
из рудой просочился руды,  
из подпочвенной жилы железной.  
В южном городе — цокот и гам,  
на базаре — Шанхай и Сиам,  
и Багдад разноцветный впридачу!

Источая торгашеский зуд,  
мятой розой червонцы цветут,  
презирая латунную сдачу.  
В южном зное зернистый гранат  
продаётся по пять пятьдесят —  
по цене не для нашего брата.  
И, начертан барыжьей рукой,

завлекает анапест такой:  
«Очень вкусная! Фрукта граната!»

#### 4. Рассветная ловля

И Геленджик зелёными глазами  
глядит на розовеющий причал,  
где чайки с крючковатыми носами  
колючим южным голосом кричат.  
И светят мелом сквозь инжира ветви  
рассветные лачуги рыбаков,  
вдыхая йод полупросохшей сети  
с ячейками аттических веков.

Ясона ради, ясной были ради,  
над вёслами восстав во весь росток,  
мой здешний кореш, Шурик Андреади,  
о чём-то помня, смотрит на восток.  
Там солнце над горою разгорелось,  
как три тысячелетия назад,  
когда Ясона молодость и смелость  
вела корабль в Колхиду наугад,

когда на сломе бури-панихиды,  
вдоль утренней, вдоль бронзовой руки,  
клевала та же глупая ставрида  
на голые блестящие крюки...  
За что же смят дубовой балкой кормчий,  
что вдоль золоторунных берегов  
к удаче краткосрочных полномочий  
провёл отважный парусник «Арго»? —

Не зря вчера, под вечер, холодея,  
вдруг стал насквозь зелёным солнца глаз,  
как будто бы волшебница Медея

взметнула пас над Понтом ещё раз,  
являя — всем изменам! — мечь Колхиды,  
возмездие, судьбу-ворожею...  
Греби же, эллин! — Мимо Атлантиды  
и Родоса косит косяк ставриды.  
И лодку сносит в гиблую струю...

## 5. Времена винограда

*Я. Л. и К. В.*

Помнишь, Лёвка, Кабардинку  
на кавказском берегу! —  
Я цветную ту картинку  
оживлю на всём бегу:  
в сентябре вода прохладна,  
и посёлок тот — дыра.  
Но бурлива и всяядна  
юность, бедности сестра.

Два десятка студиозов  
у подножия горы  
ищут счастья под наркозом  
мандаринной кожуры,  
где на грядах винограда  
длятся сборы пино-гри,  
и сплетаются в шарады  
мон ами и мон шерри,

где и Алик Андреади,  
местный кабардинский грек,  
словно тенор на эстраде —  
горделивый человек...  
Источают лавры мирро  
в чёрной полночи двора.

Пахнет каплею эфира  
медицинская сестра.

И крахмал её халата  
ясно светится впотьмах  
где-то там, в пустых когда-то  
санаторных теремах.  
Раз-другой крутнёшь пластинку —  
и несметной уймы лет,  
пролетевших под сурдинку,  
словно не было и нет.

Стёклышки калейдоскопа,  
дрянь — картонная труба.  
Но встряхнёшь глазок циклопа —  
и с орехами арба  
снова грюкнет у подножья  
барбарисовой горы,  
и блеснёт дельфина кожа  
на параболе игры.

Помнишь, нашим был когда-то  
край — не месяц и не крест? —  
Рай советского муската  
и фанерная палата  
с белизной крыла-халата,  
с милосердием невест...

\* \* \*

Парашютистка, резальщица вен,  
строптивица, ребёнок длинноногий,  
среди никому не нужных перемен  
всё отчуждённой наши две дороги.  
Пойду, сниму со стенки твой портрет,  
сдам, в золоте-багете, антиквару...  
Я так шучу. Поскольку больше нет  
тех дней-цветков — наотмашь, с пылу, с жару.  
Парашютистка выцветших небес,  
за гущей кофе, трефою ворожки —

не целебат, но пряный Целебес  
в воронке завихряет специй крошки.  
Румянец твой пылает, как вещдок,  
и карие глаза чуть близоруки.  
А над запястьем бьётся мотылёк,  
чей жёлтый шёлк — законный цвет разлуки.  
Я сам его к руке твоей позвал —  
расцеловать следы стекла и бунта...  
Прокурен дымом угольщик-вокзал,  
но циферблат прозрачен — до секунды...

## С ВИДОМ НА МОРЕ

Татар и Тартара гортанней,  
пылает охра берегов.  
А плечи полночи — желанней  
благоволения богов.  
Таврийской ночью на балконе  
крепчает красное вино.  
Сипит пластинка в патефоне,  
жужжит судьбы веретено.  
Воркует Клава ли Шульженко  
иль округляет зычно рот  
в правах богатых пораженка  
Русланова полков и рот? —  
Поют. И на балконе снова  
так молоды отец и мать!  
Но не разнять мне губ для слова,  
не дотянуться, чтоб обнять...

А лишь вдыхаю воздух чёрный,  
приснясь, к перилам наклонясь.  
И вижу с высоты дозорной  
сквозь кипарис мелкоузорный  
слоистых гор водобоязнь.  
Удары волн и ласки пены  
отломают от подножья шмат.  
Но выше, вдоль речушки-вены,  
на полном вдохе Ойкумены,  
парит — полвека без измены —  
в ночи белеющий фасад...  
Родимые до вздрога лица.—

Она тонка и мощен он.  
И снится дом с балконом.— Длится  
догалилеева страница,  
столпов парящих небылица —  
балясины, слоны колонн.

## АБРИКОСЫ ТАРХАНКУТА

О. К.

А что до дней, где рдеет абрикос,  
я вновь окликну Тарханкута лето. —  
Давным-давно я слал тебе приветы  
туда, где льдиной правил эскимос.  
И ты мне письма длинные писал,  
покуда с полуострова, с Чукотки  
не прилетел домой, к Тавриде-тётке,  
в свой прежний тарханкутский ареал.

Мы встретились. Я вижу, как сейчас,  
твоё авто системы «Запорожец» —  
красней, чем «Манифест». И отсвет кожиц  
оранжевых плодов не в бровь, а в глаз  
влетал сквозь ночь. Я мерил шагом сад  
в надежде звук поймать, а то и строчку,  
поскольку день я сам, жена и дочка  
изничтожали на курортный лад.

За веткой рифмы прятались. Но там,  
во тьме, в прохладе так легко дышалось!  
Примято-нежный плод, награду-малость  
бросала Ак-Мечеть к моим ногам.  
И день за днём твой пыльный городок,  
райцентр цикад, акаций, Тарханкута,  
мешал цикорий и полынь-цикуту,  
наперчивая воздуха глоток.

Доныне ноздреватый ракушняк,  
желтея над зелёною водою,  
рифмуется с былою-молодою  
эпистолярной дружбой, скажем так...  
А ярко-красный жук из-под колёс  
пылит. И метит пеплом расставаний —  
ресницы, занавески в окнах зданий,  
двор с кошкой на продавленном диване  
и кряжистый, в колючках, абрикос...

\* \* \*

Глаза земли я окликал: «Земницы!» —  
и раскрывались сонные зрачки,  
дабы ответить: «Снится — время длится,  
паруются и мёрзнут насмерть птицы,  
и рвутся к смыслам клинышки-значки,

каракули на обожжённой глине —  
рисунки к Богу — искренность и лесть...»  
В ресницах почвы, в корне-пуповине  
стрекочет тяга к стрелке-середине,  
но в них и мнимость минус-корня есть!

Земному сну я не сулю покуда  
того, что сам себе не обещал,  
поскольку вряд ли я в себе избуду  
чужачество приверженности к чуду  
и чуткость клиньев глиняных начал.

Когда б собрать мне всех метафор бисер,  
весь жемчуг из-под свинских пятак,  
венчались бы с провайдером провизор,  
и пшиком дыма мизер-телевизор  
взлетел бы к халифату облаков!

\* \* \*

Я думаю, не умер Бог.  
Тевтонской спесью порчен Ницше —  
летучий аспидов клубок  
и он же — лунь простёртый ниц же.

Но Бог, как минимум, устал.  
Устал не менее, чем люди.  
Ведь фарисеи правят бал,  
мусолит ростовщик кристалл,  
и нет раскаянья в Иуде.

Заплачь, коль можешь.  
Сам суди!  
И сам к секире подходи  
для воздаянья... Ибо в нём —  
просвет меж злом и полным злом.

\* \* \*

Будет день, и будет пища,  
из кофейника вода  
и шершавое жилище  
с табуреткой для труда.  
В гроб стола рука уложит  
юность чёрканных листов,  
на которых век умножит,  
как всегда, на ноль твой зов.

Там, в бумагах,— буквы только,  
закорючки, письмена.  
Дню от рифмы нету толка,  
нет ни мяса, ни вина.  
Есть лишь сыгранная чисто  
книжка родственных цитат:  
снег, снегирь, румянец, свисты —  
на Сочельник в аккурат.

В сушняке чертополоха  
на пригорке ледяном,  
снова свищет «Жить не плохо!»  
гном, подкрашенный вином.  
Подрумяненный кагором  
дымный дух, летун-игрун —  
жив над пригородом-вором  
и честнейших полон струн.

Рдеют яблочные грудки  
непогибельных пичуг:

«Жив ли? Жив!» Впрягаясь в сутки,  
наостряет слух битюг.  
На его косматой морде —  
человечья дремлет грусть,  
а во лбу белеет орден  
за давно отцветший куст.

На бедре его мохнатым  
иной крупно-серебрист.  
Рдеет надо льдом покатым  
снегиря румяный атом —  
словно альфа всем цитатам,  
буквица-евангелист...

## ПОЕЗД ИЗ ВЕРОНЫ

На землю Австрии я в Инсбруке ступил,  
морозной ночью в Мюнхен из Вероны  
из предпоследних добираясь сил  
железную дорогою. Бессонно  
крутил колёса аэроболид —  
на европейском уровне, без шума.  
Я, помнится, изрядно был прибит  
усталостью. Опять, почти угрюмо,  
владело то же ощущение мной,  
что и на многих прошлых перегонах:  
как бы укор саднящий об исконных  
утратах меж небесной и земной  
константами — между людьми и Богом...  
И там, и здесь я много задолжал  
задолго до того, как в жизнь вбежал  
за ржавым обручем в Луганске босоногом...  
Тирольская студёная погода  
виски сжимала, леденила лоб.

Я знал, что должен сам себе по гроб —  
достоинства, свободы, кислорода...  
Вот и теперь: рысистой беготни,  
полдня в Вероне не было мне мало.  
Но чистоты идеи не хватало! —  
Мне впору было б, словно кьянти, дни  
здесь смаковать глотками: девять, десять,  
уже пятнадцать, только двадцать пять...  
Куда быстрее Адидже мне бежать?  
Что вправе камни римлян перевесить —

сей мрамор, больше двадцати веков  
белеющий над бурным мелководьем?  
Так нет же! В низком стиле шашни водим  
с условностями дутых индюков  
по ту и эту сторону границы. —  
Лимиты виз и денег. Скучный долг,  
велящий чин по чину воротиться  
в ту степь, где воет гимны зимний волк...

И не когда-нибудь — по плану, точно  
к субботнику под Пёсьею звездой,  
вернись! Дабы, попом или Балдой,  
не кануть в топь, так в прорубь вмёрзнуть прочно...  
Опять беззвучно тронулся болид,  
оставив Инсбрук полночи и стыни.  
И ощутил вдогон я, что отныне  
во мне Верона ласково болит —  
щемит в груди краткая любовь:  
резных балконов и колодцев плиты,  
три капли кьянти в жилах неофита  
и белых статуй ледяная кровь...  
И ты, цветок на сквозняке, — одна,  
с единственным, своим, изгибом лона!  
Минуя лёд тирольского перрона,  
я подлинно хлебнул опять вина,  
озвучив вновь, на все лады, Верона,  
вне времени, влюблённо-беззаконно,  
твоих ключей альпийских имена!

\* \* \*

Собор, огромный, чёрный, в зимнем Лунде!  
За что твой абрис помню и люблю?  
За то ли, что, — без лишних слов, по сути, —  
я путь всё тот же, неизбежный, длю,  
за годом — год, за шагом — полстолетья,  
связуя с непрерывностью пунктир,  
неловко тычась в мировые сети,  
толкаясь красной буквицей в эфир?

И не за то ль, что, слепленный отважно  
по Отчему подобью пешеход,  
дороге друг я, — порассыпав брашна,  
она меня в Сочельник приведёт  
к заснеженному шведскому порогу? —  
Скрипит камнями башен Лунд-чернец  
в морозной тьме и посвящает Богу  
зажжённых свечек Праздничный венец.

В громадном стылом храме пахнет хвоей,  
мерцает в яслях сено Рождества,  
и свечек огнеглазье золотое  
являет дух живого существа.  
Но вдруг среди стыни, — зноем-отголоском, —  
настигнет стук стального молотка,  
как бы взметнув над гиблым перекрёстком,  
в пространстве, ставшем на секунду плоским,  
чад гарпии, угар еретика...

\* \* \*

И поддельный мускат отдаёт неподдельным портвейном.  
Относительно всё, как доказано точно Эйнштейном.  
Пригласите поэта в солярий, а не на погост.  
Отнесите цветок к нержавеющей памятной стеле,  
если воры ночные металл ободрать не успели.  
Труден выбор пути, а подъём относительно прост.

Не оставьте творца на асфальте продрогшего века —  
относительно тёплого, сбитого с ног человека.  
Мрачно, Отче, дичанье Твоих ненасытных детей...  
Уложивший художника в зимний гараж до похмелья,  
карандашным огрызком пишу я в дневник всю неделю:  
«Время — без покаяния, годы — без добрых вестей...»

Проводите, без зависти, в летний театр музыканта,  
в оркестровую яму. И ленточку чёрного банта  
повяжите на шею в пропорции крыл мотылька.  
А когда зарыдают об общей утрате «Паяцы» —  
абсолютен их слух. Первородство не смеет склоняться  
перед косноязычием скупщика и байстрюка.

Занесите мой резус в картонное личное дело.  
Относительно точно в слова облакается тело.  
Например, фигурирует точность «до наоборот».  
Давят зимы Сибирью на плохо заросшее темя,  
прирастает цифирью до боли знакомое племя.  
Но о худшем я лучшее помню: «И это пройдёт...»

\* \* \*

Каждой морщине времён на шагрене пространства —  
юности озера, зрелости дней над лагуной —  
песню-письмо посвятить, и грехи самозванства  
солнцем-вином умягчить и водой полнолунной.  
И лав-историю с географической картой —  
от Жюль Верна до Жульки, попутчицы верной —  
план, что затеян ещё за школярскою партой,  
между двух формул кислот, меж азотной и серной, —

музыку перистой дали, межхолмий интригу —  
в строгий канон уместить, в безупречные такты...  
Может быть, даже в достойную автора книгу,  
ту, где по вкусу с фантазией смешаны факты.  
В миге, в смеженье ресниц, в самой малой лакуне,  
сжавшись в спирали, живут предисловия к тайне.  
Нет, виноградарь, минут, исчезающих втуне!  
Сумма их — год урожая, пароль на ротвайне...

## ДОРОГА В МАЛЫЙ СТАМБУЛ

Полнолуние. Двадцать ноль-ноль.  
Августовское солнце осело.  
Поезд мчит, и как будто пароль  
цыкнул в клык проводник-Азazelло. —  
Азиатский попятился зной,  
сорок дней изнурявший Украину,  
и в вагонные окна иной,  
завихрѐнный, хмельной, вороной,  
хлынул воздух в режиме онлайн.

Что я думал? Да то же, что все. —  
Много ль жизни осталось, к примеру...  
Потухали в лесной полосе  
угли суток, раздоров химеры.  
Время истины — странность пути,  
отстранѐнность в реликте-полѐте,  
притяженье огней впереди,  
но и всё ж: «Кто ты там? — Погоди,  
промахнись в меня на повороте...»

«Всѐ, что нас не убило, — изрѐк  
собеседник — добавит нам силы»,  
чтобы жѐлтого дома упрѐк  
взял с собой в молодую могилу  
неприкаянный сверхчеловек,  
титанических опер ценитель...  
Но, камбэком тесня саунд-трек,  
крепнет эхо, растѐт оберег,  
длится отзвук его, долгожитель.

Ибо он от «танцующих звёзд»  
в гуще хаоса мог оттолкнуться  
и, скорее всего, в полный рост  
входим был в неопознанность блюда.  
Потому в моём беге на юг,—  
к вавилонству, к дикарству истока,—  
Заратустры непойманный друг  
правит мне кровоток, ладит звук  
аритмии, приспешницы мокко...

## КИММЕРИЯ

Здесь волны шепчут имя Пифагора,  
шуршат «Анаксимандр, аквамарин»...  
Здесь нету слов для жалоб и укора,  
и круг пространства-времени един.  
И этот круг, живая эта сфера,  
верней, взаимопроницаенье сфер,  
искрят то алой альфой Гомера,  
то опереньем весельных галер.  
Так детородно Понта колыханье,  
так страстен стон волнующихся вод!

О, выслушай еще одно признание  
и продолжай свой кесарийский ход,  
клочок земли с налетом перламутра,  
где целый век в виду волнистых гряд  
встречаю я аттическое утро  
и провожаю варварский закат!  
И если б каплю пурпура для тоги  
сумел я здесь добыть, залетный росс,  
да видят беломраморные боги —  
и я свернул бы с каменной дороги,  
и я бы в эту охру с хрустом врос...

## У МОРЯ ПОГОДЫ

И всё летят от мыса Меганом  
армады чаек с острыми крылами,  
летят почти неделю, день за днём,  
над мутными зелёными валами.  
То снова грозы, то разрывы туч  
пронзает свет, живительный и краткий.  
И в буну бьющий пенный вал — могуч,  
и мириады брызг — солёно-сладки.  
Штормит, но местный бомж, из моряков,  
бубнит, что завтра ясная погода

до крымских доберётся маяков  
и до всего приезжего народа.  
А мне в просветах ливней — хорошо:  
брожу по лужам тёплого бетона,  
где малышня резвится голышом,  
и не ругаю грозового фона.  
Ведь дождь, как миг-миллениум, пройдёт.  
Двоякий Рим вкусят волчата-братья.  
И нет у лукоморья непогод.  
А ждать подарка у понтийских вод —  
достойное художника занятие!

\* \* \*

*И. Л.*

Здесь морской конёк гурзуфский,  
загогулина, крючок,  
на майолике этрусской  
попадает в мой сачок.  
Здесь набоковскою марлей  
махаон-летун пленён.  
В нём поверь, наследник Тарле,—  
зашифрован фараон.

Ибо и стезёй Рамзеса,  
и соседством пирамид,  
и родством Пелопоннеса  
осенён Тавриды вид.  
Ибо выткала Эллада  
над Гурзуфом облака...  
Дай же — крови винограда  
я плесну в два гранчака,

чтобы мы с тобой у моря,  
в десяти шагах от вод,  
возлюбили априори  
к Адаларам птичий лёт.  
Там, в проёмах скальных арок,  
чаек и бакланов гам.  
Майский Крым — судьбы подарок  
беспризорникам-стихам.

Ты поймёшь, поэт и книжник,  
что в античный здешний склон,  
в каждый мыслящий булыжник  
я по-прежнему влюблён.  
И скользнув по перепонке  
сна, я зорче явь узрю —  
мир, что первенцу-мальчонке,  
навсегда отстав от гонки,  
вместе с сердцем подарю...

## В КОНТРСВЕТЕ

И виноцветная сирень,  
и белая — в кипенье пены —  
сквозь серый выплеснутся день,  
когда, скликаая перемены,  
ударит в свой звонок апрель,  
подбадривая бодрым звоном  
всю нищих склонов акварель,  
все искры в синем и зелёном.

Глаза Гурзуфа в лоб дерзят —  
в упор наглеют по-матросски.  
Но рад вплести я всё подряд  
в попутные свои наброски,  
как будто жаль мне обронить  
под саклей улицы юрзуфской  
парчи подпорченную нить,  
уже вплетённую в мой русский,

на ритм положенный, язык...  
Не зря вросли в заметки эти —  
и ножевой предсмертный крик,  
ночной Хичкок, проулков сети,  
и у Коровинских палат,  
вдоль олеандров кистецветных,  
вазонов Джугашвили ряд —  
как некий символ злозаветных,

но нераскаянных времён...  
Вдвойне за зуб, втройне за око

вернёт своё трущобный склон,  
чья халабуды кособоко  
коробятся, трещат по швам,  
но держатся когтистой лапой  
за скрип корней, за срам и хлам,  
за снимок с низколобым папой...

Глаза потомков недобры.  
Взлетят их ветки, лиловея,  
но нравы почвенной игры —  
день ото дня пребудут злее.  
А «Кэннон» щёлкает. — Бреду  
посёлком городского типа  
и всю любовь-белиберду,  
беды цветную лабуду  
ловлю пластинкой фоточипа...

## ИЗ «ПЕСЕН РЕКИ ЯН-ЦЗЫ»

### 1.

За маем вослед золотится июнь,  
и ласточки вновь небеса оживили.  
О лёгкие, быстрые, острые крылья,  
о чёрточки туши династии Цунь!

Неужто и впрямь мандарина гонцы  
пространства пронзили? —  
Едва ли, едва ли...  
А просто сто рисовых дней зимовали  
в оранжевых глинах у жёлтой Ян-Цзы.

### 2.

Здесь Сяо из нефрита яйца,  
в скорлупках золота, несут.  
Зверьками ловкими их пальцы  
впиваются в священный труд —  
бумагу варят, квасят порох  
и красят в яркие цвета  
копеечных игрушек ворох,  
зане святая простота

велит им петь хвалу драконам  
и заживо сдирать шевро  
с тех, кто движеньем беззаконным,  
неосторожно-утомлённым,  
в тушь не сполна макнул перо...

И, натянув на барабаны  
виновных кожаный покров,  
молиться вслух огню шафрана,  
латая дробным ритмом раны  
чешуйчатых своих богов.

### **3. Похищенный рецепт**

Тигриные когти и буйвола сердце —  
вот зелье, и старцу и воину впрок.  
Скрипит одряхлевшей обители дверца,  
чья петли стократ пережили свой срок...  
Тигриные зубы да буйвола печень —  
обрывки тибетских похищенных тайн...  
Расстрига, бродяга, живуче увечен,  
вспахал костылём Бухару и Китай.  
Кремнисты пути деревяшки беспутной —  
семь лет под лохмотьями шалой судьбы

до отчей обители пасынок блудный  
пергамент хранил — сургучи да гербы.  
Тигриные лапы и буйвола потрох —  
сушить, истолочь, настоять на меду.  
Рецепт молодильный — гремучий, как порох,  
вливающий в жилы багрянец-руды...  
Премудрые крысы шуршат среди хлама,  
и призрак скрипит дрявяною ногой.  
И, чу! — Колокольчик тибетского храма  
щебечет с акцентом равнинные гаммы  
звонит под кирпичной келейной дугой...

#### 4. Китайская грамота

Полновесный июль, абрикосовой зной,  
невесомая дрожь светотени —  
но горчит эта щедрость подспудной виной  
и тревогой невнятных смятений.  
Поучительна книга династии Цин —  
восемьсот тонколицих наложниц  
вырезает из нежных шелков мандарин  
птицеклювым движением ножниц.  
Розовея, смутясь, они стаей вспорхнут  
и украсят цветением ветки,  
но повсюду развесил узорчатый плут  
паутинные ловчие сетки.

О, как прежде я спелое лето любил,  
грозное, румяное лето!  
Но становится пеплом погашенный пыл,  
и никто не в ответе за это...  
И не знаю, как быть — улететь ли в Китай  
на огромную Жёлтую реку,  
где бамбук или рис шелестят «Баю-бай»  
потерявшему сон человеку?  
Где не сразу ведут на заточенный шест —  
век живут мелкотравчатым торгом...  
Восемьсот лепестковых воздушных невест  
будут ждать и обрящут с восторгом

императора ночь. И, шестнадцати лет,  
будет предана лекарю дева,  
ибо мудрошипящий придворный совет  
должен выдавить чадо из чрева...  
Ну, а тех, кто родился, на этой земле  
не минует касание лета.  
И созреет, взойдя на суглинистом зле,

щедрый плод в исполнение обета.  
И для каждого — свейся кольцом ли, взлети —  
много трепета, воздуха мало.  
И почти всё равно — уплыть ли в Китай  
или в омут родного зеркала...

## 5.

Но что есть Будда? — Дерево в саду,  
коль посмотреть буддийскими глазами...  
В провал зимы, в безвременье уйду,  
но прояснится — и под небесами,

под новым солнцепадом оживу.  
И хмель травы, и детства халабуду  
вдохну, рукой поглажу наяву.  
И снова то же имя назову...—  
Так и монах шафранный будит Будду.

\* \* \*

Спасибо всем — я цел ещё как будто.  
Скорее, жив в итоге, чем здоров.  
Дворняга лает, цепь грызётся с будкой,  
и осень пахнет розою ветров.  
Спасибо, день мой, за глоток в кофейне  
всего-то за четыре пятьдесят!  
Твой радиоэфир откуплен феней,  
но сны в просветах ясеня висят.

В кондитерской, под вензелем зелёным,  
арабики хлебнув, — не оробев  
в цейтноте и пролёте забубённом, —  
бубню — к запеву осени — припев:  
«Спасибо, яшень, за тебя, родного! —  
Рубаху сбросил, но не променял  
нательный крестик заповеди-слова,  
белянку-нить нездешнего улова  
на чёрный нал, на карлов капитал...»

\* \* \*

Услышанное не вернётся в хаос,  
увиденное явлено на свет.  
Лазурно море. Бел и крепок парус.  
И верится, что смерти вовсе нет.  
И мы с тобою, будто бы впервые,  
приходим к этим ярким берегам,  
где ветер в соснах, где мы вновь живые,  
где скудость вервий сброшена к ногам.

Истоптанное веком, не стеляя,  
поднимем и отмоем добела...  
Ты помнишь то венчанье веток в мае?  
Как *издали* та музыка плыла!  
Мы есть. И ни обрушенный Икарус,  
ни отпылавший ливнем лёд комет —  
ничто, ничто не возвратимо в хаос!  
Мы избраны и явлены на свет.

## БУКВЫ

Когда мне землекопы в лоб твердят,  
что я — всего лишь бык, а не Юпитер,  
я отвожу непримиримо взгляд  
и мну в ладони соль и зёрна литер.  
И слышу шорох, волхованье букв,  
Египет слышу, пиктограммы детство,  
и клинописных глин звенящий лук —  
тугих волов и львиных лап наследство.

Шуршит папирус. Нильские поля  
телят лелеют, чтоб скоблить пергамент  
для музыки, для чудодействия, для  
звериных войн и птичьих моногамий.  
О, слишком много в ней заключено,  
в коровке божьей, в буквице священной!  
Дымится слова красное вино,  
целя надеждой и горча изменой.

Когда меня алхимией корят  
историк, археолог и географ,  
я вижу золотых династий ряд,  
где в синих косах тайный иероглиф —  
тяжёл и полновесен, как нефрит...  
Где мандарина ротик вероломный  
улыбкой кислой пришло дарит,  
скрывая расы разум многотомный.

О, слишком много в ней предрешено —  
в повадке теплокровной взлётной речи!

Лишь певчей птице долететь дано  
до почвы плодоносных Междуречий.  
Там лона глин обречены рожать!  
Там слово, словно лён и воздух льётся,  
и там последний черноротый тать  
с тарантуловой нитки вниз сорвётся...

## НА КОЛЁСАХ

### 1.

На сто тысяч пробега золотистой «восьмёрки», —  
от варяга до грека, то в гору, то с горки, —  
напишу с перламутровым отблеском оду,  
славословие ходу в любую погоду.  
Особливо же, ходу в погоду худую,  
когда — ливень и стынь, когда хау не дую,  
когда всяк пилигрим, словно псына, бездомен  
и пронизан косым до миндалин-оскомин.  
Хороши вы, полвека подошвенной жизни  
на промокших асфальтах в продрогшей отчизне!  
Но теперь, — как ни плюйся верблюд туарега, —  
нажил я за два года сто тысяч пробега.  
Выбрал русую кралю, сцепление выжал.  
Обзавёлся медалью — во всадники вышел.

О, летунья-смуглянка, быстры твои крылья!  
Не про сны спозаранку, про трезвую быть я  
объясняюсь с тобой понуканьем штурвала:  
миллиметр на секунду — выходит немало...  
В этом есть нечто, явно от стихосложенья, —  
прониканье несущего ритма в движенье,  
когда, сбившись на слоге, не выправишь песни  
и не выправишь мокрой дороги, хоть тресни.  
Так вот, лада, предобрая самаритянка,  
выживаем вдвоём, убегаем от танка.  
То Ильи колесница грохочет над нами,  
то вдогонку грозитя пунцовое знамя...

Азиопы задворки. На газе конечность.  
На попа перевёрнутая бесконечность.

## 2.

Хмырь-ремонтник с перебитым носом,  
сиплый карлик, дышит ядовито.  
Шилом по твоим прошла колёсам  
куцая рука чумного быта.  
Что за пьянь со зла проковыряла  
за ночь две передние покрышки?  
Пусто, стыло. Ну, и всё ж немало  
теплится ещё добра в кубышке —

в полусфере утра-окоёма,  
в бузиной заласканном овраге,  
в чернобривце у ступеньки дома,  
в беглой строчке на клочке бумаги...  
Наплевать! Не в первый раз кололи  
шилом. И кастетом убивали.—  
То же время воеет в отчем поле,  
в неизменном волчьем ареале.

На рассвете карла — смаху, спьяну —  
ляпнет латку на порез резины.  
И по тем же ямам, по туману  
и к Отцу ты вырулишь, и к Сыну...  
Вслед и Дух, по слободам и весям,  
до дверей твоих за полнедели  
добредёт, реален и чудесен,  
путь скостив по мнимой параллели.

3.

Чёрно-белые псы и сороки  
нам дорогу пересекали.  
Под февральской корою соки  
в полусне лепетали едва ли.  
В зимнем ветре гуляла брага,  
за Ельцом опять запуржило.  
И стремглав неслась колымага —  
лошадино-железная жила.

Хорошо б долететь до места,  
не сломали бы крыльев сроки —  
костяная не спит невеста,  
всё слоняется вдоль дороги.  
Проскочить бы вдоль поворота  
на промёрзлой звенящей шине...  
Греет гулкую кровь забота —  
колесить с утра по равнине,

по овражной, непокаянной...  
Ночью вьюжит, с утра подтает.  
На снегу спиной — то ли пьяный,  
то ли мёртвый — мужик отдыхает.  
И слетает к нему осторожно —  
может, ангел, а может, знахарь —  
с чёрно-белой сосны придорожной  
ярко-праздничный голубь-вахирь.

\* \* \*

Кем взойдёшь на узор Казантипа,  
кем с магнитного камня сойдёшь?  
Вирус рифмы — опаснее гриппа,  
но сейчас эту хворь не тревожь.  
Спрячь тетрадь и с утра собирайся  
на космический каменный мыс,  
в чьей лобастой мужской ипостаси  
проступает из хаоса смысл.

Где в зелёном заливе Азова  
время движется в лодке и вплавь,  
укрепись нарастанием зова  
и ошибку запрета исправь! —  
Стань летучим над астрою скальной,  
чтоб все камни её лепестков  
опознать сквозь спектральный, сакральный,  
сквозь оптический воздух веков.

Там, внизу, три химерные чайки  
труп баклана, расквашенный ком,  
потрошат, иерархию шайки  
соблюдая — разбойным глазком...  
И змея-бычколовка извивом  
уплывает в подводную тень,  
и полуденным медным наливом  
метит солнце предплечий шагренёв.

Кем взлетишь над цветком Казантипа,  
кем на рыжий лишайник сойдёшь?

В мегабайтовой памяти чипа —  
много слов, откровений — на грош...  
Но высотная правда безмолвья  
полнит синь над ракушкой-песком,  
и тоскуют о Ноевом зове  
капли соли, молекулы крови —  
в капилляре под зыбким виском...

\* \* \*

*В. Е.*

Не чурайся, мудрея, летучих стихов, Володимир!  
И пера-самописки из заматеревшей руки  
не роняй. Ибо взлётный наш тополь не вымер,  
не усох на корню — суховеям-годам вопреки.

То к Суле я прильну, то к Донцу наклонюсь, чтоб напиться,  
то опять подсеку краснопёрку крючком на уду.  
Вяжет время узор — словно ходики, цокают спицы,  
в бесфамильность потока вплетая гребцов череду.

Моложавая лодка плывёт по реке, голубея,  
молодильные яблоки падают наземь в саду.  
В те края, где дворняги добры, где кормил голубей я,  
снова я, — непременно, — плечистый мой друже, приду.

В каждом вдохе стиха оживает и светится юность.  
И давно бы я проклял бесстыжий напёрсточный рай,  
если б не возвращенья в ладье на прибрежную супесь —  
в свой цикорий, в июльский кипрей, в молочай, иван-чай...

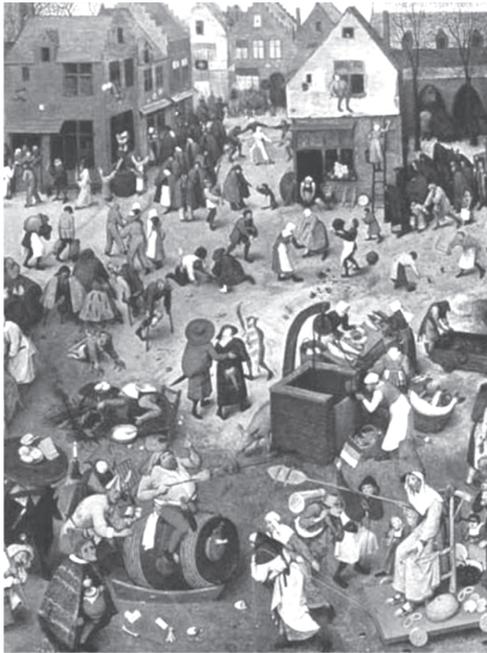
И давай-ка, вдвоём приналяжем на вёсла из дуба,  
Меотиду лаская, Азов, Казантип, Танаис.  
Да останутся честными риски бродяжьего румба —  
то налево, то вправо, но ввысь, мой соратник, но ввысь!

# III

---

## На улице Пушкинской

---



## НА УЛИЦЕ ПУШКИНСКОЙ

### 1. Хронология

Над улицей Пушкинской три с половиной десятка  
несгинувших лет продолжают свеченье, витая.  
И с «Белым» фугас веселей, чем эфирная ватка,  
дурманит мозги и толкает к закуске «Минтая».  
Вдоль улицы Пушкина прожито жизни две трети,  
увы, небезгрешных, но всё-таки неповторимых.  
И дети друзей повзрослели, и новые дети  
смекают навскидку о числах — реальных и мнимых.

С яичного купола и с кирпичей синагоги  
она начинается, с бицепсов «Южгипрошахта».  
А далее скорбно молчат лютеранские боги  
над щепнем Хруща богохульного. С бухты-баряхты  
порушена-взорвана кирха на штрассе Немецкой,  
и дом кагэбэшный, в дизайне коробки для спичек,  
склепал на руинах обком — со всей дурью советской,  
со всем прилежаньем сержантских малиновых лычек.

Но дальше, но больше — весь бодрый «бродвей» опуская,  
все лавки, витрины и все заведенья с «Мартини»,  
все шпалы на выброс, все рельсы «пятерки»-трамвая,  
ведёт моя улица к неоскуденю светлыни.  
Всех ульев и лестниц метро — во спасение мало.  
Седмицам и троицам брезжит просвет, но не тыщам —  
здесь храм Усечения Главы Иоанна Купалы  
парит белизною над старым снесённым кладбищем —

крестильный мой храм. Как срослись имена в анаграмме!  
Погосты, 2-ой и 13-ый,— связки и звенья.  
В семейной ограде отцу и печальнице-маме  
и к Пасхе цветы оставляю, и к датам рожденья.  
Но здесь же легли, словно в Пушкинской строчке остались:  
мудрец Потebня, БагалеЙ, Пугачов, Чичибабин.  
И, будто бы миром на сердце сменяя усталость,  
смолкает над дальней могилою дьякон-Шаляпин...

На улице Пушкинской мы и пребудем вовеки —  
не яблом-хореем, так яблоком и хороводом!  
Спешат молодые и радостные человеки  
вдоль утра её, становясь предвечерним народом.  
И пусть бы потом, в андерграунде, в метровокзале,  
иль, может, на самой высотной небесной опушке,  
две наши души, улыбаясь, друг другу сказали:  
«Увидимся снова, как прежде,— в кофейне на Пушке...»

## 2. Университет

На улице Пушкинской — водоворотом торговля,  
лотки да ларьки, кутерьма огурца-помидора.  
И это похоже на некую рыбную ловлю,  
где каждый берёт, что клюёт, без каприза-разбора.  
На улице Пушкина, улице бывшей Немецкой,  
студентки, плывущие с лекций, в упор волооки,  
и отсветом зыбким от утренней казни стрелецкой  
чернеют их волосы и розовеют их щёки.

Над гулом артерии вечно ломают чего-то —  
асфальты с одышкой и рельсы с оттяжкой меняют,  
зане и отсюда любимая Русью работа  
за волком вослед ни в леса, ни в поля не сбегает.  
Но улица-вена полдюжиной жилок-проулков  
ведёт к *alma mater*, к источнику млека науки,

чтоб имя «инфиз» с «политехом» аукнулось гулко,  
как с кодом пароль, как с фамилией отчества звуки.

Вдоль мыслящей улицы множит Стеклов Ляпунова  
изяществом функции и лепотой интеграла,  
и формула, будто бы бабочки белое слово,  
влетает в прохладу проёмов учёного зала.  
Сквозь выпуклость линз Левенгука, Рвачёва, Ландау  
наводит магистр-юниор новый фокус на тексты,  
чтоб в строгом каноне услышать приветствие «Вау!»  
от пойманной в точке любви  
амплитуды-невесты.

\* \* \*

Мануфактура «Дружба» из Китая:  
ярлык — багров, бела шестёрка литер.  
Как чинно я обновку примеряю,  
протискивая лоб в шанхайский свитер!  
Мне внятны тех палеозоев даты,  
но красок нету у тогдашних шмоток  
и формы нет. Клочки бесцветной ваты,  
наброски граждан, абрисы сексоток,

сквозняк несёт на Площадь, где огромный  
портрет тирана врёт, как лучше стала  
и веселее жизнь долины ровной...  
И парой глаз из серого металла,  
зрачков гадючьих, гонит он в дорогу  
свой люд, в одежде неизменно-серой.  
А если нечто снизу брезжит Богу —  
лишь клятвы и салюты пионера.

Я всё-таки там жив! И мак на шее  
узлом неровным к празднику повязан.  
И ни былым, ни будущим клише я  
крамольной верой в колер не обязан.  
Я цвет ищу, чтоб сделать сказку былью.  
И веря вертикалям нашим взлётным,  
лиловый негр нам подаёт мантилью,  
и жёлтый Мао свитер «Дружба» шлёт нам.

\* \* \*

Чёрные куры сидят на ветвях алычи,  
дымчатый кот задремал на ступенях хибары.  
Явно искренье молекул османской парчи  
в патоке зноя, в лукуме таврийского жара.  
Вот он, посёлок приморский, куда столько лет  
я приезжаю опять по невнятной привычке,  
где между прошлым и будущим паузы нет,  
как ни любви нет меж ними, ни дружеской смычки.

Войлочно-драный охранник хозяйства Мухтар  
цепью гремит у пристройки, дощатой лачуги.  
Банщицей здешней веранда сдана мне — товар,  
столь ходовой в сей жильём небогатой округе.  
Вот оно, то, для чего, потеснив виноград,  
демос слепил два десятка халуп при турбазе:  
вольного воздуха водка и бриза мускат  
в каждом зачатию-вдохе и в выдохе-фразе!

Воля Господня, свобода святого вранья, —  
наперекор греховодной обыденной правде, —  
дней на пяток умыкните с поминок меня  
и, коль не прав я, в уста целованьем поправьте!  
Чёрные куры с ветвей извергают помёт,  
кочет с утра, как при Ироде, зычно горланит...  
Море возлюбленной пахнет.  
И хмель не берёт  
глупого сердца. И солнце шагрени не ранит.

### ПОМНЯ О ВОЛОШИНЕ

Скользят по воздуху века  
над бухтой Максимилиана,  
и перистые облака  
зеркальны рыбам океана.  
Как чисто видно сверху вниз,  
как выпукла хрустальность мира!  
На паутинке Крым повис  
медовой луковкой инжира.

В горах татарская арба  
по рыжему трясётся камню.  
Повязка с плотницкого лба  
сползает и уже близка мне  
настолько, что всё чаще я  
воображением сквозь зиму  
спешу в те вещи края —  
Кара Дениза, караима —

где рад я разделить опять  
максимализм Максимильяна.  
Нас у холма должны распять —  
но только бы не слишком рано!  
Нас не преминут повязать  
соучредители Содома,  
чтоб по понятиям дать понять,  
кто здесь хозяин пса и дома...

Барыжный берег стал подлей,  
чем был при Генуе, при скифе...

Зачем же мы к холсту елей —  
кармин и охру на олифе —  
несём? Затем ли, что, пока  
мы всходим по ступеням разом, —  
два тяжелых моряка, —  
вновь перистые облака  
легки, как детская рука,  
как первородным утром Разум?..

## ТРИ ПОДЪЁМА НА АЙ-ПЕТРИ

### 1.

Прохлада и чабрец. Набыченный козёл  
наследовавший нрав заржавленной пружины,  
стеклянные глаза, грязно-седой камзол  
и лучшие рога Ай-Петринской вершины.  
Лачуг дырявых свист. Навалом мусор-вздор  
насыпал раб земной у входа в поднебесье.  
И будто бы шепча младенческий укор,  
трепещет на ветру поодаль редколесье.  
И этот березняк уже не смерд сажил:  
когда-то и сюда, знать, поднимались люди —

кто с саженцем в руке, кто с ковшиком белил,  
а кто с глотком вина в охотничьем сосуде.  
Дыхание чабра. Прохладно-жидковат  
обрывистых вершин предсумеречный воздух.  
Там где-то , у подошв, скликают газават,  
но тишь небесных трав настояна на звёздах.  
Распахнут окоём.— Ракушки городов  
нанизаны внизу на нити побережий.  
За веком век плывёт над яйлой без следов,  
и лезет на козу лупатый здешний леший.

## 2.

Коньяком «Ай-Петри» угощали  
на макушке этой же вершины  
Тюрки при бочонке и мангале —  
Крымско-мусульманские мужчины.  
Скалы ли, зубцы, клыки, отроги —  
подпирали купол мироздания...  
Вежливый вопрос звучал в итоге:  
удалась ли сочной снедь баранья?  
Оттого ли, что пунцовой феской  
оттенил я шрамы и седины,  
был смягчён хрящом гортани резкой  
клёкот из воинственной щетины?  
Потому ли, что, от лоз чуть пьяный,  
отражался я кальяном медным,

синий вечер яства дастархана  
оживлял в орнаменте приветном?  
Снова на вершине воздух хладен  
вопреки теплыни у подножья,  
и в изломе скал и скальных впадин  
светится пунктир узора Божья.  
Вновь пасутся на Ай-Петри кони,  
жеребёнок губы тычет в вымя  
матери. И привкуса погони  
нет в шашлычном поднебесном дыме.  
Хромом брезжит, никелем прохладным  
звон стремян или ключей от рая.  
Если б время не было всеядным,  
можно было б жить не умирая...

## 3.

Мы с тобой вдвоём придём на Суд,  
станем над бескрайними гробами,  
белый опечаленный верблюд  
с шерстяными плотными горбами.  
Истрепал халат багдадский вор,  
борода слиняла, пооблезла.  
Но цветёт узором твой ковёр,  
что кладёшь ты всаднику под чресла.

Вновь я на престол Ай-Петри влез,  
сел Тимуром меж горбами брата.  
Ты и я — лишь прах у стоп небес,  
даже если бисером богата  
тюбетейка на моей башке  
и твоя узда с кольцом сквозь ноздри.  
Каждой жилкой, в каждом корешке —  
чужаки мы козьей коза-ностре.

Жуй колючку или «Кити-кэт»,  
всё равно в глазах — табу и мыто  
у трудяг, которым места нет  
близ щедрот овечьего корыта.  
Мы с тобой придём на скорый Суд  
в долгом и упорном несогласье...  
Над травой крапивницы снуют,  
и каймой вокруг седла цветут  
сто газелей вытканного счастья.

\* \* \*

Чичибабин в розовой фуражке  
мне сегодня встретился в метро —  
та же мятость ворота рубашки,  
тот же клифт, пошитый нехитро.  
Тот же свет, — то кроткий, то мятежный, —  
из-под сивых вздыбленных бровей,  
тот же, простодушно-многогрешный,  
закативший очи соловей...

Но осенней пепельною птицей  
среди осин мятётся голос твой,  
потому вовек не откреститься  
мне от смены вех над головой —  
от пронзивших свистами пространство  
вольнодумцев, странников-стрижей,

от жулья родного окаянства —  
воронья с повадками бомжей.  
Я любил тебя ещё при жизни —  
не за то, что был с мной неплох,  
а за то, что в бесовской отчизне  
нам с тобой мирволил бедный Бог.  
Ни копейки я тебе не должен,  
разве что, всю душу задолжал...  
Так, давай, — крыло в крыло, — продолжим  
перелёт в предзимний наш астрал,  
где, фанерный, врёт словесник-петел  
над предсмертно дышащей листвой,  
но, как Отчий взор, протяжно-светел  
бессловесный смысл над головой...

\* \* \*

Над олеандром парусник проплыл,  
едва глотнув от розового яда.  
В час предвечерья первая прохлада  
уже коснулась лепестков и крыл.  
На волнорезе дует свежий бриз,  
а здесь, на склоне глинистом, чуть выше,  
здесь — гуще зной, томительней и тише,  
и ладаном сочится кипарис.

Здесь веет крымских пиний благодать.  
И этих смол, горячих веток, глины —  
не откупить за гривны и полтины.  
у нищего счастливец не отнять.  
Живи — ведь снова парусник снуёт  
над выбеленной зеленью оливы.  
И тот, чьи сёстры-ветки легкогривы,  
чьи крестники летучие игривы,  
тот — видят боги — не сейчас умрёт!

## КОКТЕБЕЛЬСКИЙ ХОЛМ

Знойная сухость — таврийская муза,  
тысячелетник лилов на холме.  
Чётки, насечки — жеребчика узы.  
Аве! — июлю, и август в уме.  
Платину плавит понтийское лето,  
cezий в изложницы Цезарей льёт.  
Царственна в полдень зенита монета —  
аверс ликует, звенит оборот.

А базилевс сухотравья, кузнечик,  
чалый скакун, цымбаларь да скрипаль,  
снова седлает бессмертника венчик  
и озорует, соломенный враль.  
Нет, не сидится в тени мне за чаркой —  
соли и зною ресниц вопреки  
снова взбираюсь на холм янычарский,  
море лаская у правой руки.

Здравствуй, Волошин, полынный мой кровник  
с привкусом дедовского «цоб-цебе»!  
Слышишь ли, глиняной правды виновник,  
вздохи и шорохи почв о тебе?  
Видишь ли, — брызжут кобылки над склоном,  
крылья расправив в химерном броске? —  
Рифмы, что шифром искрят потаённым,  
колером — алым, шафранным, лимонным  
и растворившим лазурь в молоке!

## СУРОЖ

Три стебля чабреца из-под скалы-стены,  
лиловые цветки степных скудельных брашен,  
сорву я потому, что снова мне слышны  
железные слова пряморастущих башен.  
Здесь консул держит речь, и сурожская крепь  
покорна письмам о генуэзской воле.  
Но жёлтые холмы перетекают в степь,  
где ханские бойцы тоскуют на приколе.  
Где всадники крепки на выгнутых ногах  
и с кровью пить кумыс обучены с батыйства,

там страх не пасть в бою — один единый страх,  
и жилистый язык не создан для витийства.  
В скуластых образах наследников Орды  
играют желваки священного разбоя,  
и лижут белый яд Чингизовой звезды  
раскосые полки с безусою губою.  
И вновь азийский вал со сталью Апеннин  
сшибается у скал под солнцем Киммерии,  
чтоб златотканый хан иль консул-властелин  
шептал хвалу Алле иль Матери Марии...

## СКАЗКИ У КОЛЫБЕЛИ

### 1.

Алёнушка с обёртки шоколада,  
кровинка космонавта Андриана,  
глазами просит братца: «Пить не надо! —  
Ни клятвы с губ, ни ржавчины из крана...»  
Президиум-призвездиум поднимет  
мартышечьи пергаментные лапы —  
и из камней Афгана душу вынет,  
и выморит Советы тихой сапой.  
Сверчков запечных вытравит мобила  
магнитною волною-болтовнёю.  
А в кротости ягнят сгустится сила,  
чтоб агнец повторял вослед за мною  
слова всё той же к Пастырю молитвы:  
«Дай сна и яви на продленье вдоха!

Зажги ещё над чернозёмом битвы  
малиновый вихор чертополоха!»  
Ещё кружит орбитой над планидой  
майор Титов с улыбкой светло-честной,  
но в местности, копытами изрытой,  
нет Германа — и там темно и тесно.  
И ты, Ванюша, подкольной ямки  
не тронь — не пей из козьего копытца!  
Нам, пасынкам кривоколенной мамки,  
негоже прямою подавиться.  
Алёнушка фольгою серебристой  
шуршит, ловя губами невесомость

и, кажется, ещё лепечет: «Выстой!»  
Но из суда, с амнистией «по чистой»,  
опять выходят: «разум, честь и совесть»...

2.

Летит над тёплой мальвою малява.  
Малюй себе, Мальвинушка, малюй!  
А ты, Морозов Павлик, птица-пава,  
в бессмертье левой-правой маршируй.  
Кружит вдогон за майской каруселью  
фартовый, весь в наколках, мотылёк.  
Подзуживает зюйд к питью-веселью,  
и в мак макает кисточку восток.

Как семя, всепрощенье расплескалось.  
Летай, Мальвина, в воздухе рисуй! —  
Любовников-стрекоз искренье-малость  
большим карандашом живописуй.  
А тот малец с пропащими глазами  
ни кумачом, ничем не виноват!  
Не с Каином сморозилось, но с нами,  
сегодня — как все тыщи лет назад.

3.

Напилась луна, свалилась за гору.  
Правит жажда неба на Руси.  
Пьют планеты за полночь и загодя,  
влёт, навскидку, Ньютоне, спаси!

На гору опять вползла опухлая,  
календарь забывшая луна —  
стёртая, как рифмы из Апухтина,  
стрёмная, как день Бородина.

Глядя ввысь, и я глотком не брезгую.  
Но сейчас волнуюсь: самолёт  
выпивши летит — железо резвое...  
Вдруг луну он, тоже мало трезвую,  
вдруг крылом с мигалкой зашибёт!

## ИЗ РОДОСЛОВНОЙ

Трёхгорлый кочет, ворон пятиглавый  
и смоль-телёнок о шести ногах... —  
Бьль чёрная с отравленною славой  
ломают зелень в гетманских лугах.  
Я вашим рос, Кныши и Наливайки,  
когда из волчьей чашки молоко  
мне скармливали на ночь ваши байки  
и песни выл у люльки пёс Серко,

собачьим сердцем за стеною чуя —  
саблюк измену, жжёной шерсти клок...  
Не вашим стал я, но родства хочу я,  
хоть вряд ли будут белка и свисток  
в руках у нас, как не было их сроду,  
с тех пор, как берегиня-Перворусь, —  
неравнодушна к волчьему приплоду, —  
вогнала ярость в вену нам и грусть...

Плеснула в чашку с ручкой завитою  
отвара из толчёных мотыльков,  
чернильно-едкой ягоды настоя  
и млека от волчицыных сосков,  
чтоб отхлебнул я — и на донной гуще,  
на жиже колдовского толокна,  
о будущем гадал, чадящем пуще,  
чем прошлая столетняя война,

чтоб угадал я Припяти разливы,  
где сом луну метровой пастью пьёт,

где в гуще осоки мерцают гривы  
чернильной смолю одичавшей сливы,  
где лбы волчат с утра — смелы-бодливы  
и кочет в три гортани срам орёт...

**АКВАРИУМ**

Аквариум-реликт, хромо́й велосипед —  
фрагменты навсегда расколото́го бы́та.  
И всё ж, доколе жив в предметах дух примет,  
выходит, что опять лицо юнца умыто  
водою ледяной из кухонной трубы,  
что в шею, как стрельца, его толкает утро  
и тащит на урок, где досками судьбы  
чернеют крышки парт, где Марь-Иванна мудро  
спускает с круглых губ квадратные слова,  
и вязнут в краске рта пустых сентенций мухи...  
По логике вещей, боюсь, она права.  
Но прав и прежний я, стрельцова голова, —  
в побеге напролом, в своём бунтарском духе.  
Аквариум, где нет переднего стекла,  
по меньшей мере ждёт упоминанья в тексте.  
Вода его пространств неслышно утекла  
вдоль стыка плоскостей, в стандартно-слабом месте.

Ручьи же тех времён, Зеркальною струёй  
в тональности весны в Красногвардейском сквере  
сбегая на асфальт разбито-разбитной,  
ещё журчат о том, что каждому — по вере...  
Что было в той воде, всплеснётся и теперь,  
пускай, чуть погодя, но булькнет неуклонно  
рыбёшка-телескоп, — золототельый зверь, —  
похожая на гроздь, на квитку, на дракона.  
Был меченосец ал... И птичье молоко,  
похоже, я допил, хоть не доплыл на остров.  
Аквариум сквозит ребристостью «Арго» —

не на плаву его, из оцинковки, остов.  
А всё же цел каркас! И надо понимать —  
зеркальных полон вод сей параллелепипед,  
где отражён в стекле отец... И разом мать —  
анфас его живой и зыбкий профиль видит.

## БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ БАЗАР В ХАРЬКОВЕ

Ещё и в октябре цементные прилавки,  
торговые ряды с названием Благбаз,  
не гасят колеров воскресной ранней давки  
и хмелем бьют в ноздрю, и цветом брызжут в глаз.  
И в сини октября приезжие казахи,  
на выбритые лбы надвинув малахай,  
бараньи кожухи набросив на рубахи,  
улыбками зовут в плодоносящий рай.

Они забыли вкус ордынского булата,  
но веют и конём, и степью за версту.  
Их яблоки крепки, как зубы азиата,  
округло-золоты, как груди жён Бату.  
Там, где плоды свежи, как воздух Алатао,  
и льдистою водой до хруста вспоены,  
там, за снегами гор, большие земли Мао  
о рисовых пирах цветные видят сны...

Но до Алма-Аты ещё с полмира поле:  
железом Джекказган, углём Караганда —  
гремят. И — красный внук злато-ордынской воли —  
на жёлтой Сыр-Дарье дымит Кызыл-Орда.  
И вновь стада кобыл, носительниц кумыса,  
пылят, и пыль сладка кочующей душе.  
Промчат они Джамбул, ворота в стан киргиза,  
проскачут Мынарал на рвотном Балхаше.

И вот, когда табун к подножью Алатао  
примчится, раскалясь тюльпанами ноздрей,

обобранных садов пожухлые заставы  
вернут меня опять на рынок в октябре,  
где снова я стою у россыпи прилавка,  
за миг промчась зрачком по смуглым временам,  
где вновь к стене ларька худая жмётся шавка,  
улыбкою прикрыв бродяжничества срам.

Здесь снова — тмина дух из огуречных кадок,  
здесь от капустных груд хрустит, кряхтит земля.  
А перец — то пекуч, то крупно-ал и сладок.  
И кипень хризантем — за штуку два рубля...  
И тут же, над хурмой, — кавказца клюв орлиный,  
иссиня-огневой, отважно-хитрый глаз.  
И впору поспешать из Азии полынной  
туда, где из теснин взлетает ввысь Кавказ!

## СКАНДИНАВСКИЙ ТРИПТИХ

### 1. Прощание со Стокгольмом

Ночной пролив — бурливо, пьяно.  
Декабрьский снег — обманно, скользко.  
Ау, «Траттория Романа»  
у самых вод Губы Стокгольмской!  
На севере — почти ничейном —  
белеет скатерть одалиской.  
Салют проперченным харчевням  
с горячей снедью италийской!  
Салют, Италия, — под боком  
и Хельсинки, и Петербурга!  
В проливе чёрном и глубоком  
гребец байдаркой правил юрко.  
Он бил веслом в рискованной силе  
там, у моста, вразрез теченью,  
когда, озябнув, мы входили  
с приятелем в тепло харчевни,  
где шмат ягнятины невинной  
в багряном соусе томится,

где, — с этикеткой соколиной, —  
стройна бутылка, как певица,  
поющая «Салют а тутти,  
кари амиччи итальяни!»  
Светился юг — в балтийской мути  
и пел — в нордическом тумане...  
О, хмель смешенья и доверья! —  
Романский привкус, пряно-острый,

и в десяти шагах, за дверью, —  
варяжский чёрно-белый остров...  
Так я со Швецией простился,  
«воляре» внемля и «кантаре».  
А викинг на челне всё бился, —  
в разлёте брызг и в жарком паре, —  
с ударом струй, с дикарством тяги  
к напору, к риску и смятенью...  
Греби же, брат! Мужи в риксдаге  
клянутся Одиновой тенью.

## 2. Рождество в Лунде

Немного льда. Бесснежная зима  
в неторопливом скандинавском Лунде,  
где век за веком церкви и дома  
скрипят корнями в каменистом грунте.

Неделя Рождества — и мирный швед  
затешил за стеклом, у каждой шторки,  
питаемый электрикою свет  
семи свечей на треугольной горке.

Затешил, отгоняя холода,  
в окне цветок с пурпурною листвою,  
растенье “Вифлеемская звезда” —  
живой огонь, берущий за живое...

И в эту ночь я, словно конокрад,  
шатун упорный в шапке азиатской, —  
брожу до трёх часов. И зимний взгляд  
смягчаю я при встрече с тёплой цацкой —

с рождественской свечою и цветком  
за каждою оконной рамой Лунда...

И в воздухе — то чёрном, то цветном —  
не слышен тролль, зловредный здешний гном,  
разносчик ведьмования и бунта.

### 3. Пролив Каттегат

Зимний ливень, сплошной, беспросветный,  
хлещет, словно пришёл навсегда.  
Ёрник-Йорик и Гамлет мой бледный,  
время — очень большая вода!  
Время водоворотом свернётся  
в штопор-кукиш и тут же — в цветок.  
Или в парус дыханьем толкнётся,  
чтоб челнок ободрить на чуток.

И пройду в декабре по проливу,  
где на скалах молчит Эльсинор,  
где датчанин на шведа бодливо  
век за веком взирает в упор.  
О, как страстна волна ледяная  
в этих холоднооких местах!  
Шёл я, зимние воды сминая,  
с благодарным теплом на устах.

До сих пор на губах моих оклик  
меланхолии той не угас —  
грустный Гамлет, усмешливый Йорик,  
со свиданием, стало быть, нас!  
С повстречаньем, разбойные воды,  
бодрый гребень варяжской волны!  
Деды-Одины, внуки природы,  
бычьи шапки со звоном казны!

Предрожденственный ангел в каюте  
копенгагенского корабля

лепетал, золотясь, об уюте,  
но в снегах островная земля  
за свинцовым проливом белела.  
В серый день — лишь на йоту светло,  
но двурогий варяг споро-смело  
надвигал крутогрудое тело  
там, в тумане времён, на весло...

\* \* \*

Где голубой чертополох Тавриды  
баюкает уснувшего шмеля,  
врезают полночь августа болиды,  
большое небо надвое деля.  
Где оксамит османского халата  
на берег сброшен гурией-горой,  
пространства Демокрита и Сократа  
чреваты судьбоносной игрой.  
Честней и чистоплотней царской водки  
целящий все бесплодия простор.  
День жадностью подмят. Но полночь — кроткий  
наследует, лишь он! — Не шут, не вор,  
не тать-законник, говорю, не жалкий,  
измаранный наживой временщик...

На фреске в Падуе кусают небо палки  
и факелы. И желтозубый лик  
целующего до смерти — приближен  
к спасённому Сыновьему лицу..  
Пылает Крыма ночь, чей ужен пышен,  
чей дух достоин тождества Отцу!  
Восток и Запад сущности схлестнули  
на жертвенных Понтийских берегах.  
Опять звезда сгорела. Устою ли?  
На осыпи, на девяти кругах?  
Лазоревые чёрт-цветы Тавриды  
баюкают всю ночь шмелиный сон.  
Здесь, вопреки линейности Эвклида,  
здесь — и давно, задолго до Изида —  
птицеголовый плод её спасён...

## ТРЕУГОЛЬНИК КИММЕРИИ

Крымского яблока плоть на разлом духовита,  
плодоношения тайна невидима и велика.  
Не замутняя пронзительной сини зенита,  
длятся вдоль берега перистые облака.  
Вот он внизу — раскалённый июлями Сурож,  
пленник и страж генуэзских своих крепостей.  
В маковой феске, турецкую трубку раскуришь,  
выждав у моря коричнево-смуглых гостей —

выждав маслинных, кофейных купцов да лимонных,  
торсов моряцких, наколок чернила и соль...  
Встретишь корабль в фиолетовых мидиях донных,  
пёстро ары хрипуче-надсадный пароль.  
В Старом Крыму прошлогодняя снедь магазина  
дышит черствей, чем Гирея ременный аркан,  
и лишь над глиной сухой, над могилою Грина  
всё поливает свой розовый куст Зурбаган.

Мягче холмы Феодосии-Кафы — Стамболи  
брызнул на купол лазурью. Барышник-торгаш  
всласть покурил, да шайтаны штыком прикололи:  
чин-чинарём, то биш — баш, понимаешь, на баш.  
Эхо слоится — от Кафы до Старого Крыма,  
до крутобровой Согдайи, владычицы скал.  
Сколько бы щепки бортов ни несли тебя мимо,  
ты во спасение к этим излукам припал.

Вынь из-за пазухи тёпло-заветную птицу —  
два полумесяца перистые у стрижа.

Дышит простор, киммерийский закат золотится,  
и всё нежней, всё призывней троится межа.  
В сумерках шатки огни нереального порта:  
рой светляков — штрих-пунктирный, но подлинный план.  
Старая карта до ссадин на сгибах истёрта:  
синяя Генуя, ало-зелёная Порта  
и криворукого корня цветок, Зурбаган...

\* \* \*

Гриб осенний со скрипом шарит  
тесный выход из-под земли.  
Стылый морок, хозяин-скарעד  
прячет в угол с добром кули.  
Затолкавший жар-птицу света  
в свой кулацкий кривой мешок,  
он теперь не отдаст до лета  
ослабевшему дню должок.

Веет пагубой прель околиц.  
Ну, да разве ж нам привыкать?  
Над окном — воркованье горлиц:  
вот и правда, и благодать...  
В позолотах глухих окраин  
вызрел алый на ветках глод  
И вдоль сумерек Ванька Каин, —  
кабыздохом, сквозь лень, облаян, —  
на охоту, крестясь, идёт.

## ПОРЫВ СТУЖИ

Ветер студёный шальной налетел,  
наколотил яснобоких каштанов. —  
Словно плоды марсианских баштанов,  
светятся россыпи глянцевых тел.  
Ветер внезапный, богемная блажь,  
дерзкою стужею брызжет на листья,  
треплет ветвей многоцветные кисти,  
рыжими крыльями режет вираж.

Кличет, бродяга, всю голь на гульбу —  
и багреца, и цыганского злата.  
Стыню, немением чакры во лбу  
осень его, перед казнью, богата...  
Травы охрупчит студёная тишь,  
остекленеют до Пасхи лягушки.  
Заиндевелых каштанов игрушки  
стащит в нору острозубая мышь...

\* \* \*

Чем хуже, тем лучше. И доктор давно приписал  
нехитрое снадобье — огненный спиритус веры.  
Глотнёшь и пойдёшь ночевать на московский вокзал,  
на Курский, должно быть, где рядом — бомжи, инженеры,  
цыгане-ромалы, в наркозе бенгальских очей,  
томятся на лавках — в чаду и в дремоте тяжёлой...  
Задуманный Божим, бредёшь, меж скамеек, ничей,  
с крамолой за пазухой — ангельских дней маттиолой.

И всё ж, за родимую злобой фамильного дня,  
за братом-цианом в объятых сестрицы-цикуты —  
найдите, последние из первородных, меня,  
пока нас не смяли без слуха и голоса плуты!  
Ромалы струну бередают, над тряпьем-багажом  
тоскою о воле в предбрюшьё души ударяя.  
Пырнут, за потёртую рыжую шапку, ножом,  
но голосом тёмным касаются просини рая.

А эта плечистая глухонемая страна  
не выщедит доброго слова, не сладит ночлега.  
Наварит сивухи, допьёт до мазутного дна  
и выставит роту-засаду у дикого брега.  
И, смеха заради, швырнёт ночевать на вокзал,  
на драную лавку престольного града-вертепа.  
«Чем хуже, тем лучше» — наследный геном приказал,  
и кровопусканья, и переливания крови — нелепы...

Вот, разве что, выйдешь на улицу — девки поют!  
Верней, что-то в воздухе веет с минувшего века,

когда по усадьбам хранили семейный уют  
и медным орлом накрывали покойника веко.  
Да, разве что, лекарь, последней надежды вино  
пипеткой накапав, прокашляет: «Затемно встаньте  
и в долгую зиму смелей отворите окно,  
чтоб вымыл вам очи арктический *spiritus sancti...*»

\* \* \*

По всем законам кармы, — пишет блоггер, —  
весь этот город должен сгинуть на хер,  
под землю провалиться иль взлететь  
с проклятьями в прогорклый воздух чёрный,  
чтоб Стивен Хокинг, скрюченный учёный,  
успел бы на ночь линзы протереть.

Ты сам здесь пил — всю глотал лекарства  
от тягостной хворобы государства —  
от бдений о свинце материков.  
В тот раз метро «Охотный ряд» взорвали,  
но ты, застряв в минутном интервале,  
прижился средь живых призывников...

И там был знак, где мавр таранил башни,  
где дым взбухал, — коллаيدرный, гаражный, —  
и все живые выедал глаза,  
где за секунду плазмой стали люди,  
где к притчам о фаст-фуде, — не о чуде, —  
давным-давно привыкли образа...

По логике понятий, — мыслит автор, —  
весь этот мир достоин рухнуть в Тартар.  
За Первوماем вслед Армагеддон  
на площадь поведёт кавалеристов,  
и вспыхнет лик Архангела, неистов,  
а имя войску будет — легион!

Но вот и твёрдый знак — мыслитель Стивен!  
Телесно вдрызг разбит, но духом дивен,  
не глины ком, не Голем — человек! —  
он праведных ко мне ведёт упрямо —  
Платонова Андрея, Мандельштама,  
в чьих судьбах — весь наш беспощадный век.

Когда б не вы, юродивые, двое,  
не существо детёныша родное,  
мне лучше б тормоз отпустить в метро  
и пылью бы опасть в «Ряду Охотном».  
Но вот, молюсь — о хрупком, беспилотном.  
Упрямлюсь — и не ставлю на зеро...

\* \* \*

Цветной хрусталь из грановитой Праги  
тяжёл в твоей громоздкой пятерне.  
Морские звёзды блещут в глубине,  
подобно боевым десницам саги,  
и россыпь ночи дышит над тобой  
сквозь чёрный воздух первого июля.  
Судья и царь, на колченогом стуле,  
смешал ты с первородною виной

чернила каберне, чумное зелье  
торгашеских таврийских берегов...  
Кто прожил жизнь, кто к вычету готов,  
тот от вина давно не ждёт веселья.  
Лишь память от полночного глотка  
плеснётся, чтоб вдогон воспоминанью  
повеяла подземная река  
прицельной стынью близкого свиданья...

Плотнёшь и вспомнишь: Анна и Иван  
под новый снег, под год шестидесятый,  
шесть чаш богемских выделки богатой  
достали, рассупонив чемодан.  
За пятьдесят вослед мелькнувших лет  
разбились золотой бокал, лиловый,  
смарагд зелёный... А огранки новой,  
на уровне их совершенства, нет!

Шесть раз ты ездил в островерхий Град  
на поиски. И дочь твоя Елена

разыскивала тот же, незабвенный,  
полвека подсветивший цветоряд...  
Опять июль настал, и твой балкон  
парит в ночи Нагорного района.  
Но зов аэропорта, гул перрона  
тебя тревожат тягой с двух сторон,

понеже ты обязан сам себе, —  
вне клятв и заверений на бумаге, —  
пройти и Вавилон до самой Праги,  
и долгий пеший путь: от «а» и «б»  
до края окоёма, до омеги...  
Но странно всё ж: отважный ли, хмельной,  
ты льнёшь уже к оседлости родной,  
к наследной нитке скатерти льняной —  
ещё до дерзкой фразы о побеге...

\* \* \*

Бездомный ветер кривобокий  
ограды наземь повалил,  
стрекочут сойки и сороки  
над запустением могил.  
В неровном проблеске апреля  
чернеют палые листья,  
засыпав прошлогодней прелью  
полуистлевшие кресты.  
С крылами в синь,  
с хвостищем в зелень,  
размашистый сорочий князь,

отведав талых капель зелье,  
трещит, колышет веток вязь.  
И радугой перо искрится,  
и глупый крик гортанно смел.  
Средь голых веток морщат лица  
химеры хмурые омел.  
И нечто им в ответ двоится  
в завалах прелой тишины...  
Но как кладбищенские птицы  
на диво ярки и сильны!

### ТРИНАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ

Покрашена апрельская скамейка.  
И улица подметена — отчасти.  
И вновь искрит догадка, жалит змейка,  
что синема весны — синоним счастья!  
Тринадцатое теплится апреля.  
Над чёртовою дюжиной взлетая,  
смуглеет зяблик каплей акварели,  
и зелень дышит, в кокон завитая...

Пасхальная неделя миновала,  
но в воздухе витает запах сдобы.  
Всё больше света, и всё так же мало  
в миру просветов. Смысл высоколобий  
свидетельствует, что в игольном ухе  
не мы с тобой застрянем, дорогая....  
Вдоль свежей краски, жизнь, вдоль медовухи,  
спешу к тебе, сестре и повитухе,  
из рисок зебры белый стих слагая...

\* \* \*

Рыжие лилии в зное цветут.  
Срежешь — в стекле только день проживут.  
Масти лилейной, юна и нежна,  
ты для поспешного счастья вольна,

дар свой нежданный неся налегке —  
дюжину чёрных смородин в руке:  
благо, на Пушке, у входа в метро,  
спелостью пахнет селянки ведро.

Знаю, данайцев губительный пас  
брезжит в губах твоих, в ягодах глаз.  
Дева Даная, из марева сна  
веешь греховною правдой вина.

В диве язычества — вечный соблазн,  
жар заклинания: «Раз, ещё раз...» —  
День уплывёт золотистым дождём  
мифа и влажно-смородинным ртом.

Рыжая радость, Лилит и суккуб,  
выдохнешь номер мобильного с губ.  
Выпьешь скорлупку эспрессо «Нестле»  
и в зазеркальном исчезнешь стекле...

\* \* \*

Я влюблён навсегда в мимолётных непойманных женщин.  
Долгим летом мой сон дуновеньем их крыльев омыт.  
И за это декабрь мне без доброго слова обещан —  
и усталость, и стыд.

Я зову их по имени, даже из памяти выгнав.  
Где ты, милая Гретхен орловских прогретых полян?  
Кипарисовый мыс, лукоморья таврийского выгиб  
русской речкою пьян.

Вот и мой косогор захмелел васильковой речью —  
лето с летом рифмуя, опять прорастает зерно.  
Жаль, что ты не сестра моему золотому увечью,  
но звони всё равно!

От тебя ли взберусь на отвесные скальные камни,  
к виноградным холмам убежишь ли ручьём от меня,  
но до самой зимы твоей радужки синь отдана мне,  
и звоню, не вина...

И в осеннем Крыму, и в разломах-расколах фортеций  
не забыть о тебе, ненадёжная нежная плоть!  
Стынет лист за окном. У щеки бы твоей отогреться...  
Прилетела синица — предзимней иглою колоть.

## ИЗЮМ НА ДОНЦЕ

Вкуси Изюм — расплёсканный багрец  
над поймой, над закатною излукой!  
Вечерний череп скифа, Кременец,  
змеёй обвит, легендой долгорукой.

Размах лугов, ведический Прованс...—  
Прервав совиный крик на полуслове,  
дыханью множит силы резонанс  
осенних вод и волхований крови.

Извёстка ветхой паперти скупа,  
как грош на дне церковной мятой кружки.  
Но златошвейкой вышита стопа  
по виноцветью храмовой подушки.

И над Донцом предзимний дух вина —  
струит и зыбь, и горечь первородства...  
Алеет вод закатных седина,  
а в гущу лоз зарылась рвань-война,  
чтоб на последний луч не напороться.

## ПРОСЁЛОК

Сквозь хрусты бурьяна белянка-коза, —  
две рюмки абсента — смарагды глаза, —  
к воротам спешит. И бурдюк молока  
румян и упруг, как Бурбона щека.  
Но чья это тень? Козлоногий топтун  
скребёт за моею спиной свой колтун.  
Опять ты, вражина, навис надо мной,  
над телом-душой, над виной нутряной?

Откуда в глазах твоих висмут и ртуть,  
нетрудно по запаху серы смекнуть.  
Зелёным огнём полыхает абсент —  
оставь все посулы себе под процент!  
Малиною рдеет заката пожар,  
сквозь сумерки светится вымени шар,  
и девка хохочет из хмеля кустов,  
и тени с погоста бредут, от крестов...

Уйди же с просёлка, лешак-лиходей,  
сними свои порчи с коней и людей!  
Хоть дух испустить мне, хоть грех искупить,  
а только ж — не душу с тобою пропить!  
Умолкнет стаккато зудящих копыт.  
Гранёным стаканом стахановским сыт,  
задвинет хозяин железный засов,  
сквозь сон рассупонит ошейники псов...

\* \* \*

Юность — апрель, половодье души,  
что затопила рассудка низины.  
А островные сестрицы-осины  
в белом стоят над водой без межи.  
Жижух бортами вот-вот зачерпнёт  
древний баркас безымянной окраски.  
Тяжко скрипя, без охоты, без смазки.  
вёсла толкают корыто вперёд.

Лодка с гребцами скользит по воде —  
ватники, лешие, внуки Мазая  
кажутся издали, «Приму» кусая,  
мхом и махоркой в лесной борode.  
Краток запой разгулявшихся вод,  
берег, трезвея, вернётся к осокам.  
А на просохшем лугу невысоком  
бледно-лазурным цикория оком  
майская Мавка теплу подмигнёт.

### В ПУТИВЛЕ

В Путивле тихом ночевали.—  
в траве осенней пасторали  
искрился иней поутру.  
Над монастырскими холмами  
как бы израненное знамя  
меж златотканными клоками  
швы заживляло на юру.

Молчанский монастырь в молчанье  
о Лжедмитрия венчанье  
упорно не гасил свечу.—  
Столица чудского монаха,  
грозил Путивль, не зная страха,  
царю, чья солона рубаха,—  
московскому бородачу.

Не здешняя ль толика яда,  
за ножик Углича награда,  
Борисово сожжёт нутро?  
Все северские голодранцы,  
все южной вольницы посланцы  
крест лобызают Самозванцу  
и зырят в бок Москвы хитро...

В Путивле ночевали, в школе.—  
Вне резкости самоконтроля,  
куда яснее, чем в упор,  
увидишь частностей сцепленья  
в причинно-следственные звенья,

узришь корней пересеченья  
с изломами кротовых нор.

И всё ж, столица смут и лиха,  
как заspanно звенит, как тихо  
твой умывальник во дворе!  
Смыл напрочь Сейм четыре века.  
К базару вверх ползёт телега,  
в сопровожденье имярека,  
и ржавый велик по горе

толкает твой, в фуфайке, житель.  
Молчит Молчанская обитель,  
зарос глухой травой откос...  
Но буйной почвы всплески, складки,  
холмы — тектоника вприсядку!  
Но драных крыш цветные латки  
и бдящий скучные монатки  
весёлый желтоглазый пёс!

\* \* \*

Когда всё звонче яблок мясо,  
всё ближе летних дней исход,  
в лазури яблочного Спаса  
заметен бликов хоровод.

Подобно звукам Амадея  
они в гармонии слиты.  
Великодушна их идея  
одушевленья пустоты.

Священнодействие возможно  
смиренномудрию вослед.  
Легко, легко, лишь чуть тревожно  
дробится августовский свет —

как будто крохотная йота,  
прозрачнокрылая пчела,  
искала в воздухе кого-то,  
не дозвалась и не нашла,

как будто мытари дидлайна  
придут не завтра, а потом,  
и Амадей, дружок ротвайна,  
согрел бокал с живым вином...

\* \* \*

Мотылёк-ангелок! Чья душа в ярkokрылой обложке,  
в оболочке твоей продолжает искренье своё?  
Вызревает июль, и прижизненной радости крошки  
и клюёт, и глотает, и в ульи уносит зверьё.  
Слышишь, падает плод у ограды в прогретую мяту?  
В сладких трещинах яблoк пируют гурьбой мураши...  
Как сияют глаза, и как юно уста неизмяты  
наяву и во снах — в молочае, в чабре и во ржи!

Вот и в яблочный Спас прикатило светило большое.  
Разогрет во дворе кособокий железный турник.  
Промелькнул мотылёк, и повеяло кроткой душою —  
так прощением пахнут деревья, трава и родник.  
Кто-то имя назвать на лету не успел, не решился.  
Но понятнее слов и вернее имён — тишина...  
В одиноком доме, отлетая, старик побожился,  
что дорога видна — серебро, голубень, белизна...

\* \* \*

Ритой, женщиной мягкой, мне дарена скидка  
на грузинском, на кинзмариули, вине.  
Коктебельского рынка энергоподпитка  
на весь отпуск недельный обещана мне.  
На куражьтесь над нищим бюджетом, горгульи,  
не пасите мой тощий карман, торгаши!  
Маргарита-ханум влагой кинзмариули  
наполняет, по сходной цене, от души

двухлитровую, из-под «Тархуна», бутылку.  
И напрасно к прилавку с форелью зовёт  
белозубой улыбкою, влажной и пылкой,  
Лейла-гюль, роза-джан дастарханских щедрот...  
Над дарами бахчи вьются юркие осы,  
штрассе Ленина тянется в щебет Отуз.  
Да сглотнут всё своё мафиозные боссы,  
мне же — червой-тузом половинка-арбуз

подмигнёт, и как раз на червонец затынет  
алой ягоды, с мелочью семечек, плоть.—  
Сам копейки считай, ибо Вечностью занят  
и другими порядками чисел Господь...  
Рита, женщина бизнеса, кинзмариули, —  
Ново-Светский товар, — привезёт на базар.  
Молоко — коктебельские волны в июле,  
и Волошин — плечист, словно старый корсар.

## НА ПУТИ К БАЛАКЛАВЕ

*Е. С.*

Мимо мыса Айя входят лодки в уста Балаклавы.  
Сверхсекретное капище тучами заволокло.  
Бухта ярко-зелёная, колера крепкой отравы, —  
глубже колотой раны. И рыжего взгорья чело  
генуэзской украшено крепостью. Камни Чембало,  
башни консулов, высятся на неприступной скале.  
Как бы их ни трясло — до какого бы грозного балла,  
как бы стрелка ни дёргалась на посрамлённой шкале —

всё равно остаётся избыток культурного слоя  
здесь, на самой поверхности философических глин,  
всё равно каждый век своего вызывает героя  
на откос вертикальный для спора один на один.  
Мимо мыса Айя в Балаклавскую бухту врываю —  
хлещет ливень посудину, бычится, крепнет волна.  
И под качки весёлость качаю в мажоре права я:  
«Поддавай, ветродуй! Подпевай, такелажа струна!»

Эту подлинность ветра люблю пуще сестринской водки —  
этот, рвущий полотнища, встречный напор воздушей,  
грозовой аперкот, неожиданный, братский, короткий,  
накренившийся борт — «Альбатрос» ли, «Улисс»,  
«Одиссей»...

Мимо мыса Айя доплыву до скалы укреплённой,  
чья твердыня Чембало лелеет глубин изумруд,  
чей воинственный консул заклят волоокою донной,  
а иначе — с какой бы подачи он парился тут?

Вот и я — не ядром адмирала Нахимова ранен,  
не британской свинцовой пулюю Крымской пальбы...  
Балаклавы уста аж до смерти испил англичанин,  
заблудилась слеза в можжевельнике верхней губы.  
Что-то есть присноокое в здешних опасных красотах,  
в отпечатках стрельбы на груди доломитов Айя...  
Как во всей этой жизни, во всех её скалах и гротах.—  
Иль не прав я, Иосиф? Иль прав я, Мария моя?

## НАБРОСКИ ГОГОЛИАНЫ

В семействе Гоголей, однако, прибавленье —  
под Рождество родился мальчик-гоголёк,  
что Николай Васильичем стать мог  
(отец-то был Василий от рожденья),  
но у четы родителей сомненье  
образовалось — номер не прошёл,  
и мальчика назвали Александром.  
Здесь, впрочем, струны шевелит Эол —  
ведь тоже имя в нашем литнаследье  
проверенное и не из плохих:  
то Пушкин-изумруд, то Грибоедов —  
алмаза персианского цена...  
А от себя добавлю, только на  
приватной почве — не для публикаций —  
что в годы, очень оны, у меня  
была подружка, тоже Александра,  
проворнейшая бестия, цветок  
с порочными и нежными губами.  
У девочки, в неполных двадцать два,  
росли два малыша мужского пола.  
Меньшой, от участкового мента,  
вслед за разводом забран был свекровью,  
а первенец при Сане возрстал.

В её глазах — не то чтобы блистал  
огонь, но что-то ровное светилось,  
не сгубленное жизнью на излом.  
Её, бесспорно, закалил детдом  
гуманного общественного строя...

Что ж до цветков — на ум проходят трое:  
сурепка, повилики резвый вьюн  
и колокольчик — белый, голубой,  
сиреневый июня богомолец...  
Однако ж, я разбаялся, баюн,  
неуставной вчерашний комсомолец. —  
Прощай, теперь совсем уже прощай,  
искусница! Мне надо пить свой чай —  
об Александре Гоголе продолжить  
твоим транзитом прерванный рассказ  
мне следует. Я перечёл как раз  
творения его однофамильца —  
не родича, так точно земляка —  
«Портрет» и «Нос», «Заметки дурака»,  
вернее, «Сумасшедшего записки»...  
И всё-таки о юной одалиске...  
Нет, нет! Канальство! Больше ни строки,  
ни слова больше о цветах июньских.  
Тем более, что Николай Васильич  
остерегался, как известно, роз,  
тревожно чуя оттоманским носом:  
розарий сплошь колючками порос...  
И оставлял шипы самим же розам.

Так вот, об Александре... Что сказать?  
Что, собственно, отметить? Ведь приятель  
ещё столь мал, что считанных зубов  
не хватит для надёжного укуса...  
А в сторону классических гробов  
скажу: искусство — преособый род искусства,  
уменье сплавить мускулиnum лбов  
с чувствительностью женственного сердца.  
Тут, право, нужен, хоть на час, но Бог!  
Когда-то Александр Сергеич мог  
сие. Да новый век набухал перца

во все свои подливы и супы.  
Ни уксуса не пожалел, ни соли...  
Сегодня в кухне слова поневоле  
над мерой той или иной крупы  
дежурит тень скептического носа,  
вдыхая запах едко-земляной  
и нашатырь болотный. Два вопроса,  
как дождь, висят над пишушей страной,  
читающей всё меньше: «Что поделать?»  
и «Кто, примерно, в смуте виноват?» —

Здесь в силах я лишь старый постулат  
припомнить: перемелется пшеница  
худых времён. И недорода рожь  
за нею на муку сгодится тож. —  
Для веры и неверья пригодится!  
Ну вот, почти и всё. Перекрещу  
пространство. Именитого младенца  
(купанья сцену в тексте опушу)  
домашние в махровом полотенце  
несут в молочнospелую кровать.  
Секунда есть — полслова подсказать:  
«Спи, милый». И последнее коленце:  
«Есть, братец, время — имя не проспять».

\* \* \*

Разве что чайных пакетов в метро прикуплю,  
разве что пачку, с кокосовой крошкой, печенья  
и по дороге не стану, как Пан во хмелю,  
в каждой из нимф смаковать золотое сеченье.  
И по пути воздержусь, яко страстный сатир,  
в каждой наяде алкать потаённой серёдки.  
Мальчиком, некогда, с ложки сглотив рыбий жир,  
ныне о постном и тощем пишу я намётки

в школьных тетрадах, расчерченных клеткой: стихи,  
некие планы-прожекты на смутное завтра,  
рыб, голубей пиктограммы, а также архи —  
разную муть — из массовой случайного кадра...  
Вот бы почтовый сизарь и присел на окно  
в комнате той, где уже на часах полвторого,  
в городе том, где зимой и в четыре темно,  
где только к Пасхе и жди от светила полслова...

Вот и прильнул бы к фрамуге моей голубок,  
крылья б сложил, — полевая служивая птица, —  
на подоконнике, чей проржавел козырёк,  
чтоб хоть военной тайной со мной поделиться.  
Я бы охотно с предзимним бойцом помолчал —  
об аспиристине, о вязовых веток корице...  
Или же лучше о том, как в начале начал,  
невдалеке от шлагбаума, насыпи, шпал,  
жил я в миру, но — при ангеле и ангелице!

## ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Ковши Медведиц, бабочки-летуны,  
которых тем же именем зовут.  
И девственно прохладные петуны,  
и пряных табаков душистый блуд.  
В полночный сад распахнуты все рамы.  
Озон листвы — дыханье влажных пор.  
О толкованье звёздной диаграммы —  
корней шершавых шорох-разговор.

О, кроны ночи, вновь я — вместе с вами,  
ветвистые сообщницы мои!  
Схоласты-дни, играя письменами,  
кропают точки над латынью «і».  
Их шум корыстный иссушает рощи  
индейских клёнов и воздушных пихт.  
Но вы, мои живительные ночи, —  
молчанья и сочувствия реликт.

Опять окно на Зодиак раскрыто,  
пошатываясь, дым гостей исчез.  
На кухне деревянное корыто  
скребёт копытом домотканый бес...  
И правда, ну их к бесу, дни рожденья, —  
на днище гуще мидийросло.  
Колышутся во сне деревьев тени,  
но спать мешает бабочек биенье  
о чёрное, Малевича, стекло...

# IV

---

*Не удий меня,  
мил-человек...*

---



## ИЗ БИОГРАФИИ

Вдоволь спето неверных слов,  
вволю выпито жгучей дряни,  
на майдане пяти углов  
меж фасадами стёрлись грани.  
Полдень лета звенел от жал —  
сатанели от зноя осы,  
и пшеничный запах влетал  
в ноздри улиц с погоста-покоса.

Длился месяц стрижиных крыл,  
окликал лепестками ало.  
Ни за что я июль любил,  
прикусив на ладони жало, —  
лишь за случай добра и зла,  
за тот час, когда в смерч-полове  
мама с криком меня родила  
в австрияцком и польском Львовe.

Конь под маршалом гнулся, дюж,  
сокол сталинский зло был молод,  
и ещё миллионом душ  
под завязку ужрался голод. —  
И в погибельном 47-ом,  
подле Сяна спасаясь от Дона,  
огласил я псалмом роддом  
в день Пречистой Казанской иконы.

Там пылало лето из лет,  
над Юрой раскаляя кровлю,

где пробился я в зной на свет,  
закипевшей измазан кровью...  
Клят волчиной, обляян лисой,  
в захолустье бесхлебья-лета  
вскормлен был я чужой козой  
подле града Елизаветы,

чтобы склон, где Бульжный Брод  
жигу пьёт на похмел из Лугани,  
освежил бы навек мне рот  
дикой ягодой иносказанья,  
чтобы нёс я в губах имена  
городов и родимых кладбищ  
по земле, где весна хмельна  
без вина над камнями капищ...

Пятьдесят обмелело рек,  
пять морей в океан сбежало.  
Не убий меня, мил-человек,—  
из-под кожи выдерну жало,  
и врачуют мне дух и длань:  
спелый луг материнства-млека,  
ветки Льва, Лизаветы, Лугань —  
вся душистая Тмутаракань,  
не увядшая за полвека...

АУ

*М. Р. Ш.*

В лиловом и молочном свете,  
в крючках и петельках чернил  
ещё живёт письмо о лете,  
где мальчик бабочек ловил,  
где средь крыжовника колючек  
прозрачной ягоды овал  
созрел, и женский голос «внучек!»  
так терпеливо, долго звал.

Был летний сад ветвленьем рая.  
Теперь, когда во дни стыда  
я крохи смысла подбираю,  
тем веткам я киваю «да».  
«Да» повторяю не свиданью,  
лишь вспышке памяти о том,  
как был распахнут мирозданию  
хранимый тополями дом...

Она звалась библейски — Марфа.  
Средь зла и злыдней рождена —  
и средь июля, и средь марта  
ко мне добра была она.  
Кровь с пальцев от шипов-колючек  
слижу и ягоду сорву.  
Сквозь ветки голос «внучек, внучек...» —  
Ау, любимая, ау...

\* \* \*

Сладкая жизнь разбомбила мне зубы под корень —  
то поцелуи, то с юга креплённые вина...  
Смолоду, помнится, ловок я был и проворен,  
но горячился. Засим и спалил половину  
черновиков и надёжных мостов через реки —  
через Евфрат, через Нетечь и Трубеж, к примеру...  
Благо, инстинкт восхождения во человеки  
не поспешил скрепить изнутри мою веру.

Брал на прикус я озёрную мову в Украине.  
Ангеле мой! Отчего всё летим через ночь мы?  
Странно мне дышится тут, где, — и здешний, и крайний, —  
я Перворусью зачем-то зову эти почвы.  
Брал я на зуб чернозём серединой России —  
куры с орлами, Тамбова пчелиные тумбы.  
С Пушкиным липецким липкую глину месили,  
всё-то шутил Александр: «Ты бы взялся за ум бы...»

Так за бухгалтерский разум я и не схватился. —  
Ни синектуры блатной, ни свечного завода  
не приласкал. Лишь за гривенник гнутый долбился,  
вахту держа, не сдавая секретного кода.  
*Ergo*, в дому моём сильно расшатаны камни.  
Скрипы прогнивших стропил, оцинковки казённой  
спать не дают мне. И больно измяли бока мне  
бесы бессонниц у стенки с фамильной иконой.

Плохо мы, родичи, брашна стяжали земные:  
жадно, поспешно — глаза и язык испоганя.

Сколько б ни чтил я умом откровенья иные,  
в сердце стучит — лишь предчувствие во Иоанне...  
Гуще ничто твоё, Русь. Бездуховнее раса.  
Ранят сирень холода перекупщика-мая.  
Плажу овчарку чепрачно-стального окраса.  
В гости не жду никого. Лишь тепла ожидаю...

## ЗАЖИГАНИЕ СВЕТА

### *И.*

Гораций, братец! В этой части света  
нет под луной надёжного предмета —  
то лампочка сгорит, то чайник вновь,  
чадя, покончит жизнь самоубийством,  
забытый мной на кухонной плите —  
на медленном огне... О, псы Господни,  
доминиканцы!.. Да к тому ж сегодня  
за окнами — эпоха перемен.

Безвременье навстречу крутит кукиш.  
Тут и башку, не чайник, позабудешь!  
Да плюс привычка: книгочийства плен...  
Опять я малость зачитался, тютя.  
Но лампочки! Уж тут не скроешь сути —  
мышино-перманентной суеты:  
уже раз двадцать в ванной я и ты  
лампаду ильичёвскую меняли,  
но в напрочь разворованной стране  
вольфрама не осталось для спирали.—  
Как инженеру это ясно мне.

И вот опять громоздкий груз житейский  
влачу из кухни — табурет библейский,  
похожий на ковчег и на качка,  
сколоченный всерьёз, не с кондачка,  
без экивоков в сторону прогресса.  
Но дальше — лучше: только что из леса,  
малютка-табуретка, дочь сосны,

нимфетка на балетных ножках белых...  
В неё ножи из шкафа влюблены,—  
при шансах ноль десятых и нуль целых,—  
и тенорок блатной магнитофона...  
Чтоб дотянуться в ванной до плафона.  
нимфетку водружая на качка,  
я уж потом на них взбираюсь, третий.  
Держи вернее, о жена моя,  
сооруженье! Ты теперь в ответе  
за козни быта против бытия.  
Держи, дабы не грохнулся на кафель  
кормилец твой, усталый спутник дней...  
Зажётся свет, чтоб высветить ясней  
твой тонкий профиль, мой за ухом грифель.  
Что нам слова чужих — о нашей мгле?  
Вон яблоко,— в пурпурных рисках штрифель,—  
светлым-светло на кухонном столе!

## ЦИКАДА

Зверь-цикада, химерное тело,  
я однажды увидел днём,  
как природа кощунственно-смело  
упражнялась в уродстве твоём.

Но, когда загустеет вечер,  
поднимается в синий свод  
голос твой,  
и тревожный, и вечный, —  
неумолчных, бессонных нот.

Что-то трудное вымолвить надо,  
на пределе дыханья — суметь...  
Полуночная боль цикады —  
песнь того,  
кто не может петь.

\* \* \*

Дикарское наследье убережь —  
огонь, что мозгу стынущему нужен,  
и эту речь, — не мальчика, но мужа, —  
размашистую, взрывчатую речь.  
В глубинные слои корнями ног  
вращать, в суглинок, в толщу меловую,  
и древних русел жилу становую  
лозой распознавать — вдгон и впрок!

И чувствовать, как напряжений гул,  
кварцитов хруст перетекает в слово.  
А поутру, перед дорогой новой,  
секреты стёртых карт вжимать в баул.  
И, обойдя наощупь полземли,  
сложить в чулан все рифмы, все шифровки  
чтоб верить вновь, — без буквы, без уловки, —  
лишь тишине — и в доме, и вдали...

## ГЕКЗАМЕТР

В стук вагонных железок признал я гекзаметр —  
то ли сивилл прорицанье, то ль весть от Гомера.  
Сдал бы зачёт я — античного круга диаметр,  
но аритмия мешает, нехватка пленэра.  
Пой, о богиня, про гнев басурманского часа —  
гона первичной гульбы и хвальбы капитала.  
Крошку кроаюшки бы, синей слезы бы от сглаза —  
мало мне надо, чтоб птица над клеткой взлетала.

В стук железных колёс мой случайный попутчик  
вдруг оказался известным в миру баритоном.  
Надо мне чаще равняться на певчих, на лучших,  
надо тональность с надёжным сверять камертоном.  
Рокот возвышенный, велеречивый гекзаметр!  
Где мои детские сны — цветомузыка Божья?  
Добрый народ не звонит мне, и зуммер мой замер.  
Нравом ли, рифмою, нотным ключом не хорош я?

И всё равно бормочу, ибо что-то другое  
вряд ли могу — потому и лечу, обмирая.  
Рокот гоняю — от Порту до града Нагая  
в небе Евразии — то бишь, от края до края...  
Ну, а внизу, по пути, на верхушке Олимпа,  
двое стоят и меня окликают зачем-то.  
А над заросшей Луганью июльская липа  
снова цветёт и струит медосбора крещендо...

## ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Ливень тысячью маленьких лиц  
отсверкал, вдохновеньем пронизан.  
На асфальте под мокрым карнизом —  
скорлупа голубиных яиц.

Значит, выпрямят вскоре крыло  
те птенцы, что проклюнулись к грозам.  
Треугольным каштановым розам  
после ливня — до дрожи светло.

Погляди же на россыпь росин  
в бело-розовых свечках каштана!  
От озона, зори, от нирваны —  
твоё зоркое имя Зоряна...  
Что ж, покинем уют-магазин,

отворяя стеклянную дверь,  
ибо гром с водопадом отходчив!  
Поспешим из укрытья молочной,  
в тот июнь, где так ярко теперь,

где твои после ливня уста  
озаряются юной улыбкой,  
откликаясь на солнечно-зыбкий  
переплеск грозового листа...

## **В ГОРОДЕ N**

Инна Энская, сдобная булка,  
королевская снедь переулка,  
винограда эдемского плоть!  
До озноба по коже хотелось  
там, за партой, свою оробелость,  
как судьбу свою, перебороть.  
Так устроены в гости ступени,  
чтоб успеть в аккурат в день Успенья...  
Глянь в окно — дорогое прошло.  
Хорошо, если всё ещё — лето,  
ибо зимняя в кружке монета  
есть уже абсолютное зло.  
Долго сеялось — быстро смолось.  
Слезла белой рубахи весёлость  
с физкультурного тела страны.  
Где ты, Инна, с корицею сдоба?  
Не увижу, хоть вылуплюсь в оба  
из-под патины и седины.

Кто же, первосвященная целка,  
кто кохал тебя до перестрелки?  
Обнимал до растраты казны?  
Не моя эта песня, чужая.  
Я ж две сини твои провожаю —  
вдоль прозрачной речной быстрины...  
И парит ястребок узкохвостый,  
грызуна засекая, прохвоста,  
сквозь июль — в нереальной дали  
от уроков десятого класса,

и листвою трепещет у трассы  
стройный тополь горбатой земли.  
Там, в забывшем все даты пространстве,  
и доныне светлы в самозванстве  
мёд и млеко округлых колен.  
Там, смеясь и не меряя срока,  
синеока и помняща Блока,  
дарит мне безнадёжность урока  
Инна Энская в городе N.

## ТЕВТОНСКИЕ ПЕСНИ

### 1. Реформация

Брат-дикобраз, разящий отовсюду  
отточенными стрелами словес, —  
се Аквинат, се обличитель блуду,  
брюхатое предгрозие небес...  
И всё же климат мягок. Но на север —  
подобны башням Эльбы берега,  
и, словно луговой неяркий клевер,  
гармония Германии строга.  
Здесь, северней, вздымает голос Лютер,  
и крепкий ветер рвётся в затхлый храм.  
У алтаря скупые слёзы муттер  
роняет по нордическим сынам.  
Сюда, в обитель мощного органа,  
в холодное жилище высоты,

приносит честный немец покаянно  
румяные крестьянские цветы.  
И я вхожу в их стрельчатые храмы,  
чтоб среди суровых стен и витражей  
понять вернее их триумф и драму,  
гортанность речи, прямизну ножей.  
Германия. Ухоженные астры  
и ларь дубовый, нажитый трудом.  
И пастор, ясноглазый и лобастый,  
напоминает мне в беседе частной,  
что храм тевтона носит имя Дом.  
Воинственны готические крыши,  
но воды Эльбы кротки. Берег тих,

там, где в соборе Магдебурга, в нише,  
светлеет лик Марии, и всё ближе  
к бездонной тишине — прощенья стих.

## 2. Кведлинбург

Там скупое, пасмурно-тепло  
апрель восходит осторожный,  
и тучный коршун тяжело  
взлетает с груши придорожной.  
И чтя воскресный перекур  
медноголосием обедни,  
всплывает город Кведлинбург,  
нетронута тысячелетний.  
Под крапом, охрой черепиц  
дубоворёбрые фахверки —  
плеяды угловатых птиц,  
всегда готовые к поверке, —  
укрыли в жилистой душе  
седого долга разуменье

о несогбенном палаше,  
о грузной Лютеровой тени...  
Там, как музейный арбалет,  
с прицелом в око иностранца,  
строга премудрость, трудность лет  
под серой чешуёю сланца.  
И замок-бург с крутой горы,  
когда-то лютый и богатый,  
на смену в правилах игры  
глядит теперь подслеповато...  
Но солнце, пристальный хирург,  
в бельмо вонзает луч летучий.—  
И отвечает Кведлинбург:  
«Яволь, герр доктор! — Легче, лучше...»

### 3. Первопечатник

Мой Гутенберг средь инкунабул —  
восстал, юпитероподобен...  
Апрель с когтистых кровель капал,  
и воздух влажен был и сдобен.  
Лучи, колокола, валторны  
в дрожащие сплетались сети,  
и львы из бронзы злато-черной  
зевали сладко, словно дети.  
Я вновь ступал на землю готта,—  
нет, не чужую для России,—  
кивая патриарху Отто  
и юной предпасхальной сини.

Я вспоминал, что Пасхи праздник  
зывается «Остерн» у германца,  
и добрый от вина лабазник  
мне путь подсказывал до Майнца,  
где жил мудрец с главой медвежьей,  
с лесною хвойной бородою... —  
О, как весною веет свежей  
над книжностью его седою!  
Ивану Гутенбергу, герру,  
спою на Пасху «Аллилуйю».  
За человеческую веру,  
как в церкви, руку поцелую.

### 4. Плющ Померании

Вот плющ германский, отстранивший ересь,—  
работник с родословной благородной.  
В фундамент кирхи крепко корни въелись,  
чтоб стебель сжился с кладкою холодной.

Вот лист тройчатый — жилистый характер  
костисто-долговязого тевтона.  
Дождь моросит, и в кирху входит патер —  
торжественно, как Дух в предверье лона.  
Промокший зимний плащ скудельно-зелен.  
Атлантики солёные туманы

предсеверным гранитноглазым землям  
целят по-свойски рыцарские раны.  
Вот зелья соль, тройное заклинанье:  
терпенье, труд, прямой хребет до гроба.  
На Хайди ли, язычнице, на Ханне —  
плащ из плюща, нордическая роба.  
И ты, — с помором, с Померанской чайкой,  
с зарывшейся в песок бродяжьей баржей, —  
опять всплываешь, вестью неслучайной,  
в зрачок сестры прохладной — Эдды Старшей.

## 5.

Просторней, солнечней, смуглее  
мои наследные края,  
но в странном зазеркалье Клее,  
скользит меж клевера змея.  
От града Нюрнберга до Кёльна  
цветна туманов полоса.  
Довольно, Грета, о довольно! —  
Вино и яд — твои глаза.

Горчит и жжётся, Маргарита,  
тобой надпитая судьба.  
Реторга и купель разбиты,  
и не спасает ворожба.  
У острокровельного дома  
тропа не в силах повернуть...

Могло случится по-другому,  
но в тигле не вскипела ртуть.

Но рыхлый философский камень,  
скупой алхимии завет  
взметнули только сизый пламень,  
не алый, нет. — И чуда нет.  
И ты — вдали, ты — чужедушна,  
надменные твои уста  
нежны сегодня и послушны,  
а нет на них любви креста...

И нет крыла на нашей встрече.  
Герани Альбрехта красны.  
Молись, строптивый человеке,  
у алтаря чужой страны.  
Вдыхай прощальней и смелее  
неверный воздух бытия.  
Но там, где скошен клевер Клее,  
едва ль спасётся тень твоя...

\* \* \*

Бабочка, дрянь с бриллиантовой пылью на крыльях,  
с годной на корм воробью лишь козявкой брюшка!  
Сколько, однако ж, воспевших тебя! — Словно были их  
легче — с травую мешка...

Нежная лярва, никчемный клочок совершенства,  
над броненосцем утоплым порхающий флаг..  
Средь конопли озоруя, ты делишь блаженство  
с парой угарных бродяг.

Всё же не вправе и я от тебя откреститься —  
утро ли преждее чту в иероглифах крыл?  
День ли предчувствую тот, где полковник Синица  
вместе нас пустит в распыл?  
Ведь генерал Горобец, к картотеке склоняясь,  
на килотоннах отчёта фиксируя взгляд,  
тяжесть в груди ощущает, секретную зависть  
к лёгкости малых зверят.

Лёгкость — большая метафора. От Антиоха  
рифмам смеялось вослед махаона крыло.  
Всё же, что ввали с чугунными лицами, плохо  
веку на совесть легло.  
Лёгкость — последнее в этих камнях бескорыстье:  
четырёхкрылый, подобный строфе, мотылёк,  
крылья смежая-рифмуя, садится на листья  
и о наряженном в белую майку горнисте  
всё безнадежней и, кажется, всё золотистой  
вновь повторяет урок...

## КОНЕЦ АВГУСТА

Вот и астры дед принёс с базара —  
белые, лиловые цветы.  
Вот и время редкостного дара —  
раненной под сердце красоты.  
Вот и отблеск раннего ущерба,  
верный знак, что август обречён.  
Затаённо стынувшего нерва  
еле-еле уловимый звон.

Стали мы на лето смертней за ночь,  
летний воздух вытек из горсти...  
Тихий деда мой, Иван Иваныч,  
не грусти, дружок мой, не грусти!  
И не мни в руках лозу корзинки...  
Разве ж новость — этот скорый суд?  
Завтра снова сходим, деда, к рынку —  
там сверкают склянки, миски, крынки,  
там июльский шпажник продают!

\* \* \*

Эта осень, оптикой играя,  
множит спектры листьев на просвет,  
жизнь роняя на пороге рая  
за ритмичность солнечных примет,  
за чеканный стиль витков спирали,  
за рублёвой амплитуды взмах...  
Эту осень, в ясенях, мы ждали —  
с яблочным румянцем на щеках.

Побреду, под сутью чуть сутулясь,  
по октобер-фесту, октябрю.  
И не верхним «до» я нарисуюсь,  
лишь пароль с логином повторю.  
С Анной ли младенец ли, с Марией —  
подлинно радушны имена.  
Эллины же звали правду «мрией»,  
подливая в истину вина.

Аж до дрожи жил крепка настойка:  
магарыч листвы — что Магарач!  
В брызгах бирюзы, стрекочет сойка,  
в китч перемешав и клич, и плач...  
На лоскутном пьяном одеяле  
вечер-варвар поздний плод зачнёт,  
чтоб на трезвой стороне медали  
отчеканил скинию Суккот...

## ИЗ «НОЧНЫХ СТИХОВ»

### 1. Роша

Тот август — наш, где молодость и ветер  
смеются, обнимаясь на бегу,  
где дремлет академик Кёппен Петер  
под камнем на высоком берегу.  
Скорей! — Уже над рощей кипарисной  
стремительно темнеют небеса,  
и светляково, ласково-капризно,  
зовут из темноты твои глаза.

Скорей! — Пока полмесяца не встало  
из-за турецкой пристальной воды,  
укроем встречи тайное начало  
от синей мусульманской бороды.  
И над шербатой ветхою плитою,  
над тем, кто эту рощу посадил,  
кто побережье Рейна золотое  
на терпкий караимский Крым сменил,

над прахом, обрусевшим и сановным,—  
опять родимся и умрём опять!  
И возвратим себя друг другу снова,  
пока луне — не время засиять...  
Скорей! — Над кипарисовою хвоей  
так неустанна юность смуглых тел!  
А чинный дух... Да вспомнит он бывшее,  
когда с тоски на Рейн не улетел.

**2.**

Акулы спят, наждачные катраны,  
не черноморском пригурзуфском дне.  
Светясь в воде, отважно-первозданно  
нагое совершенство льнёт ко мне.  
В крещендо стонет нимфа молодая,  
а я её Джалитою зову  
нездешней-некрещённой, ибо знаю,  
что более во сне, чем наяву

взмывает к небу редкостная птица...  
И знаю, что потом, при свете дня,  
не сможет взвиться той же нотой жрица,  
священница любовного огня.  
Стихи есть волн языческая вера,  
а плоть чиста при свете тёмных вод.  
И сменщик мой по эллингу, Валера,  
от щедрости полночного Гомера,  
клок паруса двум эллинам несёт...

**3. Ветхозаветное**

Как щедро мне раскрыт навстречу  
твоей стыдливости бутон,  
когда нежнейший груз на плечи  
бесстыдно мною вознесён!

Когда, тобою вдохновляясь,  
я бью пылающим копьём,  
и сокровеннейшую завязь  
мы вместе стонами зовём...

Роди мне, дочь Ерусалима! —  
И пусть он будет Моисей  
иль даже бронзовый Мисима...  
Но, небо! Плоть мою не мимо,  
не на бездушный камень сей!

**21 ИЮЛЯ ... ГОДА**

*Хорош ли праздник мой,  
малиновый иль серый...*

Арс. Тарковский

Хорош ли праздник мой, иль скуден и поспешен,  
но помню я — наш общий Зодиак  
дарил нам щедро горсть тугих черешен,  
смородинный июль дарил за так.  
Я помню — море было виноцветно  
задолго до того, как плыл Ясон.  
Глубиннее, чем бронзово и медно,  
окрашен непрерывный ток времён.

И сок пространства в реках и деревьях,  
ветвась, дробился, но не иссякал.  
И в вырезе ракушечников древних  
не выветрился с амброю фиал.  
Хорош ли праздник мой — мне лучшего не надо.  
Лишь в том останусь, что раздать успел.  
Зной на ключице, а у лба — прохлада.  
На жаркой скрипке буйствует цикада,  
и воздух густо-спел, и полдень бел...

## ДОМ В КОКТЕБЕЛЕ

Белёный дом под охрой черепицы,  
что выцвела от зноя и дождей.  
Который день и век ему приснится,  
аукнется который из гостей?  
Здесь жил поэт — вакхическое чрево,  
охапка абрикосовых кудрей,  
укрыв крылом сыновьим королеву  
тевтонских неразбавленных кровей.  
Холщовый эллин, Хортицы наследник,  
ходок с полынной пылью на стопах,  
здесь обитал он — звёздам собеседник,  
любовник египтянки Таиах.  
Вот дом его — из корабельной башни  
видны мне бухты синь и Карадаг.

Его застолий хлеб позавчерашний  
горчит мускатной крошкой на губах.  
Вот рокот Макса — россыпь тамбурина,  
ночной веранды шумная буза...  
И всех смуглей — ныряльщица Марина,  
зелёные понтийские глаза.  
Она зовёт себя весёлой пеной,  
играет лёгким именем морским,  
но створ судьбы, но фатум неразменный,  
как скальный материк растёт над ним.  
В её руке подарок сердолика  
теплей кольца, сердечней серебра...  
Темнеет ночь и степью пахнет дико  
и обещает свежий бриз с утра.

\* \* \*

Бемоли летних сумерек слабели.  
На корте стал бледнеть лимонный мяч.  
И ретро-шлягер «Лепестки камелий»  
звучал, в обрывках, сквозь посадки дач.  
В воронке ли, в лакуне ли пространства  
на миг я потерялся и не мог  
понять, зачем в запале самозванства  
спешил куда-то, повторяя «Бог» —  
как свой пароль и ключевое слово,  
логин и слоган, лозунг и девиз...

Сгушалась влага воздуха земного,  
и сад хмелел и опускался вниз.  
И растворилось в сумерках дознание,  
пройдя легко сквозь лоб мой и зрачки...  
Как пузырьки, шуршащие в «Нарзане»,  
в кустах хитином ёрзали сверчки,  
настраивая инструмент простецкий —  
крючки и пилки лап, антенн усы.  
В сонливости славянства, вечно-детской,  
рапортовали время по-немецки,  
десятком чётких тезисов, часы...

\* \* \*

Умного Ульянова гопники-племянники,  
Троцкого кузнечики — догрызли мураву.  
К торбе Щорса прянули — зачерствели пряники,  
поползла протяжная кровь по рукаву.  
Ой ты, песня долгая, без конца и краешка!  
Кожанка шевровая, браунинг-наган...  
Ворон колыбельную крихчет «баю-баюшки»,  
в голове кобенится Коба-таракан.

Чавкают засосами топи Расдвапутина.  
На Украине властвуют урки, гой еси.  
Чуешь ли, по адресу кореша Остудина,  
Матушка Казанская? — «Чад своих спаси!»  
Гнилью обессилена Русь обетованная,  
все обеты сдавшая любо в комитет...  
Чечевичной пустошью кони первозванные,  
Белый, Чёрный, Огненный, скачут след во след.

Ибо время вызрело — встать над гривой всаднику  
с поднятым до облака ниндзяцу-мечом  
и крест накрест выкрестить до набойки-задника  
всех, кто ни при совести, то есть, ни при чём!  
В вакуум не спрятаться — он кипит, сгущается.  
Пуше лжесвидетельской лавочки «хип-хоп»,  
патриарх из органов брешет и не кается:  
в третьем поколении — окаянный лоб...

## ДЖИП-РЭП

Дёргаясь, джип застревает в дорожной канаве  
вкупе с рифлёными шинами, с кругом баранки.  
Помнишь ли, милая, числа? Задачник Сканави  
по математике? Нет? — Перечти спозаранку.  
Это такое, скажу тебе, чтение для снятия стресса!  
Поинтереснее будет страшилок Хичкока.  
Рыпаясь, рэп проникает и в прессу, и в мессу,  
в дырки на лацканах, в список гостей фэйф-о-клока.

И — ноу проблем, что сходу не принял я рэпа.  
В юности, помнится, кофе хлебал через силу,  
соком томатным давился, зане, кроме хлеба,  
мало чего мне с рожденья меню подносило.  
Время суровое, знаешь ли, горец железный.  
Всё это длилось, считай, до годов девяностых,  
вальсом кружась и другою кадрилию полезной...  
Глядь — в одночасье в иных мы очнулись коростах.

Надо, май фрэнд, с реализмом дичанья смириться.  
И перемкнуть по-простому, на минимум, совесть.  
Рэп ведь — почти что гекзаметр. И курица-птица  
вправе летать. Вот такая о времени повесть.  
Если я мрачно шучу, ты меня понимаешь.  
Ибо иначе бы и не окликнул тебя я.  
Рэп в колымаге железной затем и врубаешь,  
чтобы продолжить Джамбула напев и Абая.

Всё это пелось уже. Только ритм изменился —  
в сторону черни, читай, в направленье исходном.

Мистер Грязюкин рванул понаглее, чем Вилсон,  
на внедорожнике кованом, в рваном исподнем.  
Никель блестит и по ямам дорожным несётся.  
Джип — аксиома о полном бессмертье брателло.  
Помнишь задачник? Коль тень твоя не рассмеётся,  
я интегралом тройным окаймлю твоё тело...

## НА ПУТИ К ТАВРИДЕ

### 1.

В смоленском поезде чумазом,  
ползущем через август к югу,  
все выдохы плацкарты разом  
вращались медленно по кругу,  
сгущаясь в тягостный букет.  
Фантомом-спутником, в ответ  
над душегубкой воспаряя,  
я видел ясно третьим глазом  
с высотно-птичьего полёта,  
как поезд мой вдоль нитки рельсов  
покатую дугою сферы  
по глобусу на юг стекал...—  
Состав железной головою  
шумерского локомотива  
бодал, таранил темноту,  
огнистые набывчив фары.  
Колёсные вращались пары,  
чеканя стыки на мосту.

Под звон стаканов — мемуары  
в купе соседнем шли к концу...  
Дороге, словно подлецу  
или каракулям невежды,  
все склейки, нитки, швы — к лицу!  
Сквозняк пути — пунктир надежды.  
Так, аритмией клятый-мятый,  
от харьковской, пятидесятой,

до сорок пятой параллели  
я отмерял семь сотен вёрст...  
Распахнута окон в ночь летели,  
по ветру бились занавески.  
Вставало небо в полный рост,  
и, будто бы нездешне-дерзкий,  
но издавна знакомый, мост,  
чуть изгибаясь, Шлях Чумацкий  
легко над полночью парил —  
в благоволение высших сил...

2.

А как я ранний час любил  
прибытия по расписанью —  
с привычным сдвигом опоздания —  
на Симферопольский вокзал!  
Кто сто тетрадей исписал,  
тот ради кровного признанья  
опять возьмёт, пожалуй, слово...  
Искрит вокзальная полова,  
отпускников пчелиный рой  
гудит уже и в полшестого.  
Рассветом, свежим, как барвинок,  
и чёрствой денежной игрой  
разбужен привокзальный рынок.  
И, золотясь парчой косынок,

блюдут Зухра и Алия  
червонный козырь помидора.  
Увы, скудна мошна моя!  
А всё ж в тональности мажора  
скажу, что стрелка льнёт к шести  
на здешней инкерманской башне,  
и, жаждой мучимый вчерашней,

спешит на рюмку наскрести  
бродяга пыльного покроя —  
вид, неизменный с мезозоя.  
Пора! — На грудь сто грамм свои  
в харчевне сонной Зульфийи  
вздымает особь. — Вновь героя  
награда родины нашла!

### 3.

Но стая птиц, звонка-мала,  
зигзаги чёрного стекла,  
флотилия стрижей рассветных  
«Была — смеётся — не была!» —  
в полновоздушном царстве бедных.  
Вне всех районных, всепланетных  
и прочих шарлатанских смет,  
прими творительный привет,  
как за семь бед один ответ!  
Возьми подарок-неотдарок! —  
Ведь здесь, под сводами камней  
белейших флорентийских арок —  
теплей, чем выпуклость камей,  
лепнина птичьих гнёзд. Птенцы, —  
над скверной бандюка и Флинта, —  
на подступах к высотам крепнут,  
хранимы зоркостью инстинкта  
слепой родительской любви...  
Лови рассветный дар, лови —  
свой, словно вера на крови!

Вдыхай волнистых лон флюиды,  
что с кромок Понта и Тавриды  
примчал к ноздрям легчайший бриз.  
Откройся портом Партенита,

где сокровенен трюма приз,  
и призенная синь, как прежде,  
метнёт улыбку сверху вниз...  
Первосвященством побережья,  
и в этот раз спасётся мир!  
Бьюсь об заклад — опять инжир,  
чернильный, жёлтый и лиловый,  
попел в береговых камнях...  
И о семи желанных днях  
план вызрел в солнечных осях.  
Уйдёт троллейбус в полседьмого  
туда, где август держит слово,  
где в лоне утра золотого  
коханка-жизнь проснётся снова —  
возлюбленная на сносях  
на ясно-синих воздухах!

\* \* \*

Кафа, оливы, ракушечник, полдень.  
Ртутная зелень, упорная желчь.  
Горькой маслины аттический корень  
зном не высушить, не пережечь.  
Кафа — олив серебрёные ветки,  
лепка облупленных особняков.  
В этом июле — знакомые редки  
здесь, на кайме, киммерийских песков.

В августе этом, на выдохе лета,  
вязче дожди и шершавей жара.  
Стал уязвимей зрачок амулета,  
зыбче и злее навывлет игра.  
Лишь на веранде в затишье негордом  
под деревянным, в сучках, потолком  
ласточки с красно-коричневым горлом  
сладили клювами глиняный дом...

**31 ДЕКАБРЯ 2010 Г.**

Какой ещё удачи мне искать  
в Гурзуфе, под дождём предновогодним?  
Смешал я плавно вермут и мускат  
с бродяжьим эго, с шагом всепогодным,  
с пропащим ливнем края декабря  
две тысячи предательского года,  
в котором нашатырь нетопыря, —  
сей аммиак сената и синода, —  
опять в кругу трёхсот квадратных дней  
томил чутьё и разум не пределе...

Сквозь зимний крен дождя — ещё слышней  
растерянность души в промокнушем теле.  
Но в окнах свет дрожит — посёлок жив,  
и я, в безлюдной лавке «Вина Крыма»  
две ёмкости с креплёным прикупив,  
продолжу путь, — себя и прочих мимо, —  
к лишённой смысла перемене дат,  
что мнимости суммирует и множит..  
О пёс, во тьме мелькнувший, мокрый брат!  
Похоже, я вином согрет и рад,  
что год, — чужой, как этот вечер, — прожит...

\* \* \*

Пушкин — пушист, серебрист. Под секретом при этом  
Лондона Джека в тринадцать я больше любил. —  
С Белым Клыком засыпал под сугробом валетом,  
в ружьях Клондайка ценил скорострельности пыл.  
В шубе онегинской век крепостничества мчится,  
полозом санным скрипя, бубенцами звеня.  
Снежный хорей в африканское сердце стучится,  
в солнечный бубен морозного синего дня.  
Я и теперь к ним тянусь, но уже по-другому:  
помня, что дружества мёртвых — вернее иных.

Если живым отказал со стыдом я от дома,  
знать, потому, что ломоть их — полова и жмых.  
Вот и жую золотую, с мороза, солому.  
Корм не в коня, а ясак да ярлык — не в меня.  
Честному зверю, Клыку, ослепительно-злomu,  
верят во сне из-под снега мои зеленыя.  
А в январе леденеет, не ведая срама,  
Пушкина плоть, и бледнеет кофейная кисть.  
И еле шепчут лиловые губы Обамы:  
«Вымерзли яблони ямбов. Опомнись, окстись!»

\* \* \*

Четыре месяца с концовкою на «брь»...  
А вслед — январь, февраль и слякоть марта.  
Таков обычай здешний: в оба зырь,  
но сто пудов — успеет нетопырь,  
в ментовских брюках, передёрнуть карты.

Двенадцать кряду долгих месяцев в году  
власть гопников, барыг, кидал в законе  
и говорливых попок-какаду  
плюёт на розу мира, на звезду,  
заветную на неприветном фоне.

На фоне Пушкина и, может быть, ещё  
на фоне горстки вымерших спартанцев —  
то холодно душе, то горячо.  
И саранчой садится на плечо  
летучий стрекозёл из школы танцев.

Нет, не Нуриев и не Байрон, а другой —  
Барыжников, читай, барыжье семя.  
Стрекочет, брови делает дугой,  
фигуры чертит белою ногой  
венозной. А предгибельное время

все триста с гаком високосных дней-ночей  
сестре твоей, звезде, грозит кутузкой...  
Как правильно, что ты — почти ничей!  
И даже — вне искусства тех врачей,  
что лечат все болезни водкой русской.

\* \* \*

Зима разлеглась широко и надолго.  
Замри под дохой на печи  
и, слушая вой полуночника-волка,  
в ответ по-медвежьи молчи.  
Не трожь, не тревожь ни шишиг, ни кикимор,  
ведь даже мышастый лешак  
замолк с декабря, будто намертво вымер,  
зарывшись в репейный овраг.

Срываются жалобы волчьего горла,  
морозное небо скрипит.  
Пока тебя бунтом к стене не припёрло,  
пока ты в овчину урыт,  
смекай, как легла по-азийски жестоко,  
в свирепом размахе, зима.  
не зная, с какого ощерится бока  
тюрьма ли, сума ли, чума...

Крысиные шорохи, душные ночи,  
дурного генезиса сны.  
Не каждому хватит удачи и мочи —  
от ширева царь-ширины  
спастись под овечьей ли, волчьей ли шубой...  
Прощай же, певун и дружок!  
Учитель мой строгий, Механик мой грубый,  
позволь подышать ещё музыкой любой,  
прогрей на морозе движок...

## СОН О ИЕРУСАЛИМЕ

Прошу тебя: оставь мою печаль  
со мной. И охромевшую педаль  
стреляющего лаком пианино,  
похожего на чёрный катафалк,  
оставь. Земляне-губы бросят «фак!»  
летающей тарелке магазина.

Не нам решать. Оставь всё так, как есть,  
во мне, всё, что замедленная месть,  
на нищенство умноженная честь,  
влила в меня из прежних генераций —  
из штофов синих, глиняных баклаг,  
из завещаний дьяков и бродяг,  
отцов без средств, актёров без оваций.

Оставь — я недоверчив и упрям.  
Все ваши «здесь» — мне даже и не «там».  
«Нигде, нигде!» — вот адрес необманный.  
Опять сквозь сон я силюсь долететь  
до места, чтоб в ладонях растереть  
попынный лист земли обетованной.

Горячей охрой обозначен склон.  
Хрипучий сурик и лимонный крон —  
тысячелетней засухи работа.  
И вновь разжарен добела зенит,  
присох язык, и в темени болит.  
Но, помню, я хотел спросить про что-то...

О чем ещё по-русски вопрошать? —  
Кто виноват, как в сумраке рожать,  
как умирать в загаженном пространстве?..  
Во рту наждак, и в черепае звенит,  
но я скажу: мы твёрже пирамид  
в грехе тверёзом, в покаянном пьянстве.

Меж Градом и Масличною горой,  
свежа, как пиво чешское «Праздрой»,  
кудрявится Кедронская долина.  
И, если б от души воззвать «сим-сим!»,  
шепнул бы в ухо Иерусалим:  
«Продлим повествование, продлим.  
меж валуном вон тем и кедром сим,  
вот здесь, раскрыла рот Господня глина...»

## НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

### 1. Иордан

Языческих примет нахваливать не буду,  
но кем-то полдень мой столь щедро освещён,  
что «здравствуй» молвил мне брат Господа Иуда,  
запив глотком воды тождественность имён.  
Ведь тот, Искарот, скрипел за кадром тусклым,  
за рыбьим пузырьём, оконною слюдой...  
Но трудно родники рекли иссохшим руслам,  
что не устанут быть единою водой.

Что будет полон струй источник Иордана  
среди спёкшихся песков и жарко-рыжих глин...  
Там окунул чело в купель я покаянно  
и не хотел отнять от той воды седин.  
И рыба подплыла, в уста поцеловала.  
Тончайшим серебром сверкнули крышки жабр.  
И влажное лицо я поднял — всё молчало,  
лишь в мокрые глаза дышали мирт и лавр.

### 2. Геннисарет

И Бог, и дьявол, спрятавшись в деталях,  
траву и воздух делят пополам.  
И будет так, что голубая сталь их  
воздаст любому слову по делам.  
А потому молчи, чурайся фальши.  
Всё меньше смысла в умноженье слов.  
Живи, умри.— А он плеснётся дальше,  
серебряный, от галилеян, лов.

Вода, тенёта, лодок древесина —  
всё подлинно и взвешено сполна.  
И мускулисты бронзовые спины  
ловцов. И силу кормит глубина.  
Добро и зло, намешаны в чернила,  
бумажный лист испишут пополам...  
Пройдёшь Геннисарет и дельту Нила  
и, если не иссякнет в сердце сила,  
вдоль русла ляжешь, высветлен и прям.

## ИЗ СТИХОВ О ВАЛЕНСИИ

### 1.

Так вот, где сёстры-ласточки зимуют!  
Соборов валенсийских лепота,  
беллссимо, прочтённое с листа,  
влечёт их ввысь и в роздыхе ликует.  
В Валенсии — семнадцать в декабре  
волна и воздух. И накат негромкий  
ласкает плоть белопесчаной кромки  
в размеренно-ритмической игре.

Мои четыре с половиной дня  
в цепи тысячелетней кавалькады —  
не Бог весть что... И всё-таки не надо  
из памяти вычёркивать меня,  
Валенсия! — Теперь-то я могу,  
твоею смуглой нежностью задетый, —  
пусть не омегой, — альфой и бетой  
на средиземноморском берегу

играть с тобой в слова, в воспоминанья,  
в те изваянья Сына из песка,  
которые ничейная рука  
у моря оставляет в назиданье:  
искусство — то, что будет жить без нас,  
без имени и даже без корысти  
ревнителя пера, резца и кисти,  
наследуя лишь детскость певчих глаз...

И вот летуньи наши где спуют,  
сбежав на юг, — в твоей закатной хмари,  
Валенсия! — О легкокрылой твари,

о беженке, заботится приют  
монастырей твоих и колоколен.  
И здесь, — средь кротко-женственных деревьев,  
лимонных, апельсиновых, — я волен  
зывать «Сестра-касатка!» нараспев.

И право, так мне легче узнавать  
всё то, что в силе многоцветной снилось,  
и поутру в гостинице «Лос Силос»  
тяжёлый штоф на окнах раздвигать...  
Здесь, через площадь, — колизей быка.  
Без бритвенных пассажиров матадора  
зевнёт зима. Но в марте, в день мажора,  
рванётся на арену чёрный торо,  
чтоб гибель, — чья же? — в бисере декора,  
была прилюдна и насквозь легка...

## **2. Ремарки**

На площади Лопе де Вега,  
где сам он вовек не бывал,  
ветвей апельсиновых нег  
сплетает из листьев овал  
над сном валенсийской брусчатки,  
над летописаньем камней,  
чьих памятных дат отпечатки  
с годами лишь только ясней.

В квартале, где чуть кособоко  
стоит Катилины собор,  
в кофейне «Волшебное око»  
застольный звучит разговор.  
И множат в нём «эр» неустанно  
напором, похожим на сель,  
Висенте и юная Анна  
с подругой своей Исабель.

И так полнозвучна беседа  
на фоне испанских зеркал —  
с участием Серхи де Седа  
филологов маленький бал —  
что воздуха тёмного зала  
и синего тинто, — на дне  
чернильницы или бокала, —  
хватает для отклика мне.

Журчит ли «Овечий источник»,  
мастиф ли ложится на стог,  
но я, оживляя подстрочник,  
запальчиво, будто игрок,  
участвую в переизданье  
де Веги рифмованных книг,  
которые на расстоянье  
почтительном видеть привык.

И классику драматургии  
как памятник слова ценя,  
я всё же верстаю другие  
ремарки — свидетельства дня,  
где светит «Волшебное око»  
сквозь тысячетный квартал  
где некто, с бокалом, с востока, —  
напорист, как норд и нарвал,

где пальм веера и султаны  
шуршат над солёной водой  
и зеленоглазая Анна  
вколдована в город седой...  
Где длится в кофейне беседа  
о столь многозвучных томах,  
что кожей чует де Седа —  
ночную теснину Толедо  
и точного лезвия взмах...

### 3. набросок с натуры

Это некий параллельный мир —  
терракота, звук-Гвадалквивир.  
Чёрный бык и красное вино —  
Валенсийской жизни казино.  
Догорел на площади костёр,  
где почти ослеп Фомы собор,  
где — на взлёте — шайка голубей  
тенью крыл — майолик голубей.  
Где ловил барыш и мавр, и грек,  
а сегодня инка-имярек  
продаёт, с тоскою пополам,  
тёплый снег от перуанских лам.  
Торквемада, взора смоль и яд,  
вознеся гарроты постулат,

не осилил первозданный грех,  
с ароматом рая женский смех... —  
Вот, и юн у храмовых ворот,  
вот и свеж, в листве, лимона плод,  
и, по пояс в бронзе, паладин  
зеленеет известью морщин.  
А где время длится в параллель  
теплоте оранжевых земель,  
среди коряг оливковых деревьев,  
век за веком млеет сонный лев.  
Мрамор стар и оспою изрыт,  
но упорен зверь, как воин Сид.  
И на царском жёлто-сером лбу  
нацарапал гвоздь «Али Абу»...

## **ВЕНЕЦИЯ**

Крылатый лев над отворённой книгой,  
над надвое разломленной ковригой,  
над истиной, свирепой и простой.  
Двукрылый чтец на каменной колонне,  
на мозаичном выпрессенном фронте.  
Сан Марко — очень праздничный святой.

Но более Сан Марко — плеск солёный  
об острова волны ярко-зелёной,  
Ядранской, как заметил славянин.  
Развал Адриатического пира:  
над грудой брашен — дышащая лира  
Орфея, в инкрустациях седин.

Но более Сан Марко — вдоль лагуны  
окрас палаццо, столь пятнисто-лунный,  
что неуместен местный штукатур.  
Сырою правдой пахнет камня старость,  
павлиньих дождей творческая ярость  
над карнавалом ряженных фигур.

На чёрный лак штампованой гондолы  
бросает тень отрыжка кока-колы,  
но бархат чрева, но багрец нутра,  
но твёрдое матроса равновесье —  
свидетельствуют, что все ноты в мессе,  
все знаки будут подлинны с утра,

что к полдню просочится солнце марта  
на арки, избежавшие поп-арта,  
на пристаней упругие шесты,—  
на вертикали белой древесины,  
звенящие, как флейты-окарины,—  
на скрипки лодок, на альты-мосты...

Как ни суди, сквозит за пудрой маски  
бодрящий звук и запах свежей краски,  
воздушный солод и бродильный сок!  
Под ироничным ибисовым клювом,  
разбужен Адриатики наддувом,  
крепчает Марко Поло ветер-рок,

тот ветер-зов, что над стеклом зелёным  
ты сердцем, самым верным камертоном,  
среди шумов случайных различал...  
Крылатый лев златился над лагуной,  
над книгой книг, тревожною и юной,  
раскрытою в начале всех начал.

## **ЧЕШСКИЙ ТРИПТИХ**

### **1. Прага**

Из пражской глины вылепленный Голем  
гордится шестипалою звездой.  
Горчит апрель миндалем, алкоголем,  
винительной синильной кислотой.  
Едва глотну — и вновь июль нагрянул,  
влетают пчёлы в Королевский Град.  
Я снова здесь, и вновь из пражских гранул  
разноплемённый прорастает сад.  
В лепнине, под затеями убранства  
укрыл едва ль не каждый здешний дом

следы смешенья плавного славянства  
с германским твёрдо-правильным углом.  
И Рильке акварельная кручина,  
и Кафки полуночный самосуд,  
и слог первопричины, зов Марины,  
меня по тесным улицам ведут.  
Но зажимая треснувшую голень,  
откуда сера каплет на песок,  
за мной вослед хромает грузный Голем,  
и заскорузлым каркая паролем,  
обломком глины целит мне в висок.

## 2. Ночь в Брно

Древесный кофе, кислое вино  
моравка подаёт. Но город Брно,  
однако же, — куда как величавей,  
чем эти склянки с привкусом печали,  
сказать вернее — с привкусом тщеты  
ухода от лукавой простоты,  
подмешанной и к неподдельной вере  
в грядущее, и к скепсису в химере  
готического храма. Впрочем, прочь,  
словесный укус! Влюбчивая ночь  
впускает в город воздух свеже-чёрный,  
дабы смелей-порочней дом игорный  
светился заклинаньем «Казино».  
Пускай уж неказистое вино  
рожают лозы на окрестных почвах...  
Но пиво — вот ноктюрн! — До боли в почках.  
И хмель великолепен на шестах

в воздушных залах о дрынах двухстах  
или трёхстах. Вот ночь на трон Моравы  
на медь и черепицу старой славы  
струит прохладу. В гуле казино  
«Каре, шеваль!» на 20 ставит Брно —  
и за пеньковый кофе отвечает,  
а значит, лёгким звоном привлекает  
ночного игрока... Но, разум мой,  
когда ты жив, гони меня домой —  
от пагубы нажив, от ложной цели,  
к ночлегу в университетской келье.  
Тем более, что завтра поутру  
я слёзы расставания утру —  
и над осенней готикой столицы,  
над пашнями полей Аустерлица,

где паутина ранняя искрится,  
лови крылом норд-ост, моя страница!  
Возлюбленная, спутница, сестрица...

### **3. Стеклянная музыка**

Весной, когда на Карловом мосту  
взыграют что-то венские бокалы,  
я вновь поверю нотному листу,  
и мне клавира мятого — не мало,  
чтоб целое столетье оживить,  
чтоб мартовское хмурое мгновенье  
во всех его правах восстановить  
по признаку светящегося пенья.  
Воздушен над рекою Пражский Град,  
парение камней его речисто.

Есть камертон. И вслед ему звучат  
под пальцами края бокалов чисто.  
Весна едва в зачатъе. Но стекло  
богемское, — богемного разлива, —  
заранее приветствует тепло  
и неизбежность зреющего дива.  
Раскошен город Карловых камней,  
славянство, избежавшее Чингиза!  
Со здешних круч история видней.  
Струится Влтава, и дробится в ней  
стеклянный отзвук венского каприза.

## СИНДБАД

Вечный Синдбад, пешеход, мореход,  
рьяный погонщик седого верблюда!  
Шалый Меркурий — небесный твой код  
над головами оседлого люда.  
Был ты погонщиком мула, осла,  
был ты ловцом голубого пассата.  
Соль океана, пустыни зола  
выели краску на полах халата.  
Экая жажда запретных земель,  
страсть, завитая тугою пружиной!

Сжатая, будто бы взрывчатый хмель  
синей бутылки всесильного джина.  
Очи сливовые, дуги сурьмы...  
Что тебе все обещания счастья?  
От задубевших ступней до чалмы  
создан Синдбад для скитальческой страсти!  
Вечный Синдбад, мореход, звездочёт!  
Разве же нет между нами магнита?  
Вот мы спешим за тобою на взлёт —  
факел из дюз каббалически бьёт,  
будто бы чрево бутылки открыто...

## ВОЗДУШНЫЕ КОРИДОРЫ

Во все дыры, во все щели  
лезет холод, а за ним —  
пустота от Торричелли  
и отчизны сладкий дым —  
с горьким привкусом, понятно,  
и с налогом на восход,  
на закат, на кофе пятна  
и на шпрот в народный рот.  
На Матросской Тишиною,  
над Холодную Горой,  
над зубастую Стеною  
космонавт летит, герой, —  
как фанера над Парижем,  
славным городом понтов,  
где дожди к лицу и крышам,  
и гортензиям зонтов,  
где и я гостил когда-то,  
у араба сняв подвал.  
За три дня ночлежной хаты  
слёзы месячной зарплаты  
Монпарнасу отдавал.

Над Лукьяновской тюрягой  
да над Куряжем святым,  
ледяной подхвачен тягой,  
правлю я крыло в Надым.  
Вниз влекут портвейн «Алушта»,  
с жёлтым бланком управдом,  
но лечу я, потому что

вызрел воздух под крылом.  
Вызрел, синий и холодный,  
чуть подбитый сединой,  
ледовитым духом сходный  
с первородною виной.  
Над Крестами, над Бутыркой,  
над Лефортовской тюрьмой, —  
рукавами враслопырку,  
зрячий, но глухонемой, —  
я лечу. Почти не слышен  
клёкот горла моего,  
да и я, полвека с лишним,  
сам не чую никого,  
кроме Пушкина с Дантесом,  
Мандельштама с Усачом  
да народа, с мелким бесом  
спорящего — что по чём...

Правлю курс, и днесь, и присно,  
на Игарку, на Сургут.  
а внизу всё та же тризна —  
выпьют, три мешка наврут,  
булькнут да уважат в рыло  
побратима своего...  
Что-то в нас от Бога было,  
не осталось ничего.  
Рявкнет Русь — для стихоплёта  
не отсудит ни шиша,  
лишь над прозой гула-взлёта  
смутно ждёт её душа —  
чтоб над доброю Москвою,  
сердобольной Колымой  
да над звонами конвоя  
долететь к себе самой...  
Тянет стынью. В те же щели

лезут те же времена.  
Печь дрожит, храпит Емеля,  
а с открытки Боттичелли  
лак-фиолем, еле-еле,  
веет бледная весна...

## ДИПТИХ ПУТИ

### 1.

Меж берегом и бургом клубится единство дыханья.  
Затем и бродяжишь, чтоб высветить близкое дальним,  
затем и встречаешь волну в самоходной лохани,  
трясёшься на взлёте полночном по кочкам астральным.  
Затем и Тоскана-Этрурия длится холмисто,  
и город Сиена — гончар, гобеленовый всадник —  
классической охрой и ловкой ногой футболиста  
открыто гордится. В пожухлой листве виноградник

лелеет на склоне осеннем младенчество кьянти —  
багряных, лиловых, чернильных кровей откровенье...  
А если и здесь ты не в силах воскликнуть «Аванти!»,  
то Бог и с тобой, и с твоей утомлённою тенью.  
В путь добрый, попутчик! Прости же и мне возвращенье  
в края, где ничуть не слабее подсолнух златится,  
чем здешний тосканский. Но тускло тоскует о мщенье  
отчизна меж берегом и бургом — подбитая птица...

### 2.

*Е.*

Всё! Наконец домой вернуться  
с тропы бродяжьей и случайной,  
линялым усом окунуться  
в расплав крепчайшей гущи чайной.  
Лаская груз фамильной чашки,

под перезвоны разговора  
кольнуть клыком, чуть одичавшим,  
глазурь забытого фарфора...

Как дышат разноцветной плотью  
на книжных полках царства граций!  
Как плавно складни переплётов  
тебе навстречу отворятся!  
И страстно вскрикнет половица  
древесным плетивом волокон,  
и озарится гладь страницы  
кошачьим оком, спектром окон!

И, дрогнув эхом, обернётся  
иною рукописью время.  
И дым пространства чуть качнётся...  
А надо всем и надо всеми —  
щемящий свет дочерней тайны,  
свеченье детской млечной кожи,  
глаза, что всё необычайней,  
всё больше на твои похожи...

## СОДЕРЖАНИЕ

## I. ЛИШЬ ЗВУКОМ, А НЕ ПРИТЧЕЙ...

«Ещё любил я первое июля...»	4
Давай летать	5
«Синее с красным смешаешь — горит фиолет...»	6
«Наплывает зелёной волною Азовское море...»	7
Храм под Воронежем	8
«С окрасом зебры, с тонкостью жирафа...»	10
«Разносчик пахлавыв, как бы хормейстер ос...»	11
«Двор, полночь, юг. Цветок стихотворенья...»	12
Запах	13
«С утра побрившись бритвою Оккама...»	14
«Видна ль Тебе моя борьба?...»	15
Из «Галицких песен»	
1. Через полвека	16
2. Утро Преображения, Стрый	17
Часы	18
«А если до июня доживал ты...»	19
Сумерки Лилля	20
Патриарху	22
«Отстранённо-властительно смотрит в лицо нам природа...»	24
Из «Песен о вороне»	
1. «Старый ворон с космами под клювом...»	25
2. «Люблю метель — заряды ветра в очи...»	25
3. «Стервятники, разбойная родня...»	26
«Вырастают деревья и форму пространства меняют...»	27
«В чертополохе шмель и махаон...»	28
Собачьи сказки	
1. Ночная просека	29
2. Старый пёс	29
3. Перед циклоном	30
«Живу, как всё непрочное, наощупь...»	32
«О Хронос и Харон, хрипучие прозванья...»	33
«Сирень, пионы. Стихотворец-май...»	34
«День просветлел. Ушёл тяжёлый дождь...»	35
«Айвазовский проспект Галерейная пересекает...»	36
«Опять чугунный монстр в чугунной кепке...»	37
«Медово-горький запах чернобривцев...»	39
«Дай мне тёплую руку, моя полонянка-супруга!...»	40
«На то и надежда, что сложатся минусы в плюс...»	42
«Говори, говори о плечах европейнок нежных...»	43
Брюгге	44
Льезский остров	46
«Бабочки, призраки птиц или Бэтмэнов тени...»	48
«О, розовый мускат под закуску помидора!...»	49
«Ниндзя ветра и ниндзя воды...»	50

## II. В НЕСЛУЧАЙНОМ ГОДУ

Баллада о «Калашникове» .....	52
Херувимские хорей	
1. «Помнишь, бабушка, в июне...» .....	54
2. «Снова снится лето детства...» .....	55
Виноградная беседка .....	56
Сроки .....	58
Александрю Грину .....	59
«Демон полдня движением страстным...» .....	60
Из «Кавказских песен»	
1. Альпинист .....	62
2. Гроза в предгорье .....	62
3. Торговля .....	63
4. Рассветная ловля .....	64
5. Времена винограда .....	65
«Парашютистка, резальщица вен...» .....	67
С видом на море .....	68
Абрикосы Тарханкута .....	70
«Глаза земли я окликал: «Земницы!»...» .....	72
«Я думаю, не умер Бог...» .....	73
«Будет день, и будет пища...» .....	74
Поезд из Вероны .....	76
«Собор, огромный, чёрный, в зимнем Лунде!..» .....	78
«И поддельный мускат отдаёт неподдельным портвейном...» .....	79
«Каждой морщине времён на шагрене пространства...» .....	80
Дорога в Малый Стамбул .....	81
Киммерия .....	83
У моря погоды .....	84
«Здесь морской конёк гурзуфский...» .....	85
В контрсвете .....	87
Из «Песен реки Ян-Цзы»	
1. «За маем вослед золотится июнь...» .....	89
2. «Здесь Сяо из нефрита яйца...» .....	89
3. Похищенный рецепт .....	90
4. Китайская грамота .....	91
5. «Но что есть Будда? — Дерево в саду...» .....	92
«Спасибо всем — я цел ещё как будто...» .....	93
«Услышанное не вернётся в хаос...» .....	94
Буквы .....	95
На колёсах	
1. «На сто тысяч пробега золотистой «восьмёрки»...» .....	97
2. «Хмырь-ремонтник с перебитым носом...» .....	98
3. «Чёрно-белые псы и сороки...» .....	99
«Кем взойдёшь на узор Казантипа...» .....	100
«Не чурайся, мудрея, летучих стихов, Володимир!..» .....	102

## III. НА УЛИЦЕ ПУШКИНСКОЙ

На улице Пушкинской	
1. Хронология .....	104
2. Университет .....	105

«Мануфактура «Дружба» из Китая...»	107
«Чёрные куры сидят на ветвях алычи...»	108
Помня о Волошине	109
Три подъёма на Ай-Петри	
1. «Прохлада и чабрец. Набыченный козёл...»	111
2. «Коньяком «Ай-Петри» угощали...»	112
3. «Мы с тобой вдвоём придём на Суд...»	113
«Чичибабин в розовой фуражке...»	114
«Над олеандром парусник проплыл...»	115
Коктебельский холм	116
Сурож	117
Сказки у колыбели	
1. «Алёнушка с обёртки шоколада...»	118
2. «Летит над тёплой мальвою малява...»	119
3. «Напилась луна, свалилась за гору...»	119
Из родословной	121
Аквариум	123
Благовещенский базар в Харькове	125
Скандинавский триптих	
1. Прощание со Стокгольмом	127
2. Рождество в Лунде	128
3. Пролив Каттегат	129
«Где голубой чертополох Тавриды...»	131
Треугольник Киммерии	132
«Гриб осенний со скрипом шарит...»	134
Порыв стужи	135
«Чем хуже, тем лучше. И доктор давно приписал...»	136
«По всем законам кармы,— пишет блоггер...»	138
«Цветной хрусталь из грановитой Праги...»	140
«Бездомный ветер кривобокий...»	142
Тринадцатое апреля	143
«Рыжие лилии в зное цветут...»	144
«Я влюблён навсегда в мимолётных непоиманных женщин...»	145
Изюм на Донце	146
Просёлок	147
«Юность — апрель, половодье души...»	148
В Путивле	149
«Когда всё звонче яблоч мяско...»	151
«Мотылёк-ангелок! Чья душа в яркокрылой обложке...»	152
«Ритой, женщиной мягкой, мне дарена скидка...»	153
На пути к Балаклаве	154
Наброски гоголианы	156
«Разве что чайных пакетов в метро прикуплю...»	159
После праздника	160

#### IV. НЕ УБИЙ МЕНЯ, МИЛ-ЧЕЛОВЕК...

Из биографии	162
Ау	164
«Сладкая жизнь разбомбила мне зубы под корень...»	165
Зажигание света	167
Цикада	169

«Дикарское наследье уберечь...»	170
Гекзаметр	171
После грозы	172
В городе N	173
Тевтонские песни	
1. Реформация	175
2. Кведлинбург	176
3. Первопечатник	177
4. Плющ Померании	177
5. «Просторней, солнечней, смуглее...»	178
«Бабочка, дрянь с бриллиантовой пылью на крыльях...»	180
Конец августа	181
«Эта осень, оптикой играя...»	182
Из «Ночных стихов»	
1. Роша	183
2. «Акулы спят, наждачные катраны...»	184
3. Ветхозаветное	184
21 июля ... года	186
Дом в Коктебеле	187
«Бемоли летних сумерек слабели...»	188
«Умного Ульянова гопники-племянники...»	189
Джип-рэп	190
На пути к Тавриде	192
«Кафа, оливы, ракушечник, полдень...»	196
31 декабря 2010 г.	197
«Пушкин — пушист, серебрист. Под секретом при этом...»	198
«Четыре месяца с концовкою на «брь»...»	199
«Зима разлеглась широко и надолго...»	200
Сон о Иерусалиме	201
На Святой Земле	
1. Иордан	203
2. Геннисарет	203
Из стихов о Валенсии	
1. «Так вот, где сёстры-ласточки зимуют!...»	205
2. Ремарки	206
3. набросок с натуры	208
Венеция	209
Чешский триптих	
1. Прага	211
2. Ночь в Брно	212
3. Стеклянная музыка	213
Синдбад	214
Воздушные коридоры	215
Диптих пути	
1. «Меж берегом и бургом клубится единство дыханья...»	218
2. «Всё! Наконец домой вернуться...»	218

*Литературно-художественное издание*

**ШЕЛКОВЫЙ**  
**Сергей Константинович**

**ПАРУСНИК**  
*Стихотворения*

*Видається в авторській редакції*

Технічний редактор *Є. Онишко*

Підписано до друку 21.03.11. Формат 84x108/32.  
Папір офсетний. Гарнітура NewtonС. Друк офсетний.  
Ум. друк. арк. 14. Зам. № 11-50.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців:  
Серія ДК № 1209 від 27.03.03

ТОВ «Журнал «Радуга»  
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-А.